

[Polaris]

Жюль Мэнн



СОКРОВИЩА ГРАДА КИТЕЖА

Советская авантюрно – фантастическая проза
1920 – х гг.

Том XII

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CLXXX



Salamandra P.V.V.

**Жюль
МЭНН**

СОКРОВИЩА ГРАДА КИТЕЖА

Советская авантюрно-фантастическая
проза 1920-х гг.

Том XII

Salamandra P.V.V.

Мэнн Ж.

Сокровища града Китежа: Невероятное, но правдивое происшествие с предисловием издательства, примечаниями переводчика и послесловием редакции. – (Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Том XII). – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 144 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CLXXX).

В повести-мистификации «Жюль Мэнна» рассказывается о похождениях трех чудаковатых французов, приехавших в Советскую Россию на поиски сокровищ затонувшего града Китежа. Замаскированная под переводное французское произведение повесть впервые вышла в Киеве в самом начале 1930-х гг. и с тех пор успела стать книжной редкостью. Настоящее имя автора, скрывавшегося под псевдонимом «Жюль Мэнн», остается неизвестным.

ЖЮЛЬ МЭНН



ОКРОВИЩА

Гр а д а

КИТЕЖА



КОММУ
ПИСАТЕЛ

СОКРОВИЩА ГРАДА КИТЕЖА

Невероятное, но правдивое происшествие с предисловием
издательства, примечаниями переводчика и послесловием
редакции

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Жюль Мэнн впервые выступил в литературе весною прошлого года и, надо сказать, — выступил с большим шумом. Появление его книги сопровождалось длительным и многошумным скандалом. Дело дошло до запросов в парламенте, до вмешательства самого президента французской республики. Был создан ряд комиссий, в которых длительно и многословно обсуждался факт выхода в свет произведения Жюль Мэнна, и комиссии эти заседали вплоть до осени. Тем временем книга, возбудившая такой невероятный шум, разошлась в миллионах экземпляров. Ее читали во всех слоях французского общества, ее зачитывали до дыр, говорили только о ней. Французская демократическая республика оказалась в плену у «Сокровищ града Китежа».

Появились материи цвета и рисунка «Сокровища града Китежа», подтяжки «Сокровища града Китежа», крем для обуви «Сокровища града Китежа» и т. д. и т. д. — без конца. На юге, в Бордо, предприимчивый парфюмерный фабрикант пытался выпустить в продажу эликсир молодости под названием «Молоко девы Февронии», но целомудренный мэр Бордо решительно воспротивился этому и предприятие окончилось неудачей.

В октябре, после длительного пребывания (совершенно инкогнито) на одном из зарубежных курортов, — возвратился в Париж господин президент и нашел необходимым свое энергичное и безотлагательное вмешательство.

Господин президент подписал соответствующее и недвусмысленное распоряжение. Парламентские комиссии были немедленно распущены. Очередной премьер-министр, а за ним и весь кабинет подал в отставку. В тот же день было сформировано новое министерство. И вот тут-то представилось широкое поле для деятельности знаменитой французской — явной и тайной — полиции.

Она проявила себя настолько блестяще, что уже через две недели после распоряжения президента ни за какие де-

ныги невозможно было добыть книги «Сокровища града Китежа». Да и не только за деньги, — по дружбе, по знакомству, по протекции, — словом — никакими способами!

Книга «Сокровища града Китежа» исчезла из Франции так же стремительно, как и распространялась. Это, конечно, стоило больших усилий полиции и больших денег республике. Очевидец этого происшествия, наш сотрудник, как раз в это время находившийся в служебной командировке во Франции, рассказывал нам, что французская полиция в деле изъятия запретной книги проявила чудеса ловкости и выносливости. Он говорил, что обыскана была поголовно вся Франция. Не считались ни с возрастом, ни с полом, ни даже с положением. Говорят (правда, шепотом), что президент потребовал, чтобы обыск был произведен даже у него!

Так или иначе, но через две недели «Сокровища града Китежа» были изъяты по всей Франции. Точно выяснено было количество выпущенных экземпляров и оно совпало с экземплярами, изъятыми полицией. Миллионные тиражи злополучной книги были свезены в предместье Парижа к дверям громадной мусоросжигательной печи. Туда же были доставлены все корректурные оттиски и даже многочисленные стереотипы. Район печи был оцеплен усиленными нарядами конной и пешей полиции,

 Был вечер.

 Была ночь.

Печь в торжественной обстановке загрузили. Огонь вспыхнул.

И книга, поднявшая такой невероятный и неправдоподобный шум, развеялась дымом над уснувшим Парижем. Книги «Сокровища града Китежа» не стало.

Премьер-министр, присутствовавший при этом грандиозном ауто-да-фе, несмотря на ночное время, прибыл во дворец к президенту. Был принят им. И наутро получил орден Почетного легиона. Многие из чинов полиции также украсили свои мундиры розетками легиона.

Вместе с книгой дотоле неизвестного Жюлья Мэнна были изъяты, вернее запрещены, все материи, все подтяжки

и кремы для обуви, — словом, все, что носило название «Сокровища града Китежа». Многие французские фабриканты понесли на этом значительные убытки, в особенности фирма Ситроен, подготовившая к выпуску новую серию гоночных автомобилей марки «Сокровища града Китежа». Фабриканты пытались было протестовать, но впустую. В конце концов пресса и «общественное мнение» Франции приписали всю эту историю коммунистической пропаганде зловердных русских большевиков. — Ибо, сообщалось, — несмотря на все усилия правительства, местопребывание автора книги «Сокровища града Китежа» господина Жюлья Мэнна — обнаружить не удалось. Да и вообще сомнительно, существует ли таковой автор в природе!

Мелкие, средние и крупные рантье, потерпевшие и не потерпевшие фабриканты, сидя в многочисленных кафе, с удовольствием читали сенсационные разоблачения прессы. Зашевелились белоэмигранты. Какой-то очередной манифест издал Кирилл.

Но сенсация — мотылек. Жизнь ее коротка, в особенности, если сенсация негодна господину президенту, кабинету министров и парламенту.

Выпущен был новый фильм с «обольстительнейшей» Ксенией Десни, появилось новое ревью в Мулен-Руже, — и история с «Сокровищами града Китежа» была предана забвению. Только полиция никак не могла успокоиться и долго еще разыскивала господина Жюлья Мэнна, автора, творца отшумевшей сенсации. Разыскивала, но безрезультатно.

Наш сотрудник совершенно случайно познакомился с Жюлем Мэнном в Сан-Годане. За бутылкой вина они разговорились. Наутро встретились вторично. Подружились, и через неделю, прощаясь на вокзале, Жюль Мэнн со слезами на глазах вручил своему новому другу последний и единственный экземпляр неудачливой книги.

— Возьмите! Возьмите его с собой, — я боюсь, что они меня ограбят. Я разрешаю вам перевод и издание.

Поезд тронулся, и Жюль Мэнн еще долго махал платочком, время от времени прикладывая его к глазам.

Таким образом нам удалось заполучить единственный в мире экземпляр описания неудачной французской авантюры.

Несколько слов о Жюлле Мэнне. Он никогда не был писателем. Не собирается им быть. Он мелкий банковский чиновник. Он лично принимал участие в описываемой авантюре. Толкнула его на это — любовь. Не то чтобы несчастная, но требовательная. Подробнее об этом читатель узнает от самого автора. Жюль Мэнн слабо владеет словесным материалом, но, впрочем, это простительно банковскому служащему.

Ну, что еще о нем? Пожалуй — это все. Кое-что он еще скажет сам о себе. Мы предприняли издание этой книги, чтобы ознакомить читателя с доподлинным происшествием, о котором он, конечно, уже читал в газетах. Об этом сообщалось, правда, петитом и в хронике, — но все же сообщалось.

Правдивое это происшествие дает некоторое представление о том, какие «идеи» могут возникать и претворяться в жизнь в условиях послевоенной Франции.

Итак, — мы выносим на суд читателя правдивую историю, записанную мелким французским банковским служащим Жюллем Мэнном.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Я никогда не собирался быть сочинителем, писателем. Еще в отроческие годы я почувствовал резкое отвращение к этому ремеслу, — оно неизменно и по сей день. Отвращение это, эту своего рода идиосинкразию к писательскому ремеслу — внушила мне современная французская критика. Благодаря ей современный писатель, литератор представляется мне нечистоплотным, неряшливым, грязным, давно не знающим ванны и мыла человеком.

И в самом деле — любое писательское тело кишит паразитами. Чем увесистее, основательнее, плодотворнее писатель — тем больше на нем паразитов. Они въедаются в его тело, питаются его соками, кровью, мыслями. А самое ужасное для меня, и самое отталкивающее — это то, что писатель, знаменит он, или выступает впервые, — кротко и молча переносит паразитов. Даже больше, — сплошь и рядом он бывает огорчен, если они отсутствуют, и поеживается от удовольствия, когда они набрасываются на него тучей. Называется это — критика. Чаше это просто к р ы т и к а. Но так или иначе, зловредный этот паразит живет и процветает на тщедушном, неряшливом писательском теле.

Конечно — я всего лишь мелкий банковский служащий. Мои заявления никем не будут приняты во внимание. Но все же я предлагаю в энциклопедические словари, в томах на букву «К», внести примерно такие строки:

— Критик — существо, ведущее паразитарный образ жизни, питающееся за счет автора. См. том I — «Автор».

Итак, по причинам вам уже известным, я никогда не собирался быть писателем. Но судьбе было угодно, чтобы и я превратился в некое блюдо для неуважаемых господ критиков. Так было угодно судьбе и я покоряюсь.

Хоть я и не чистокровный француз, мать моя урожденная англичанка, — но чувство национальной гордости страны-победительницы, воинственной Франции — не чуждо мне. И именно оно, это чувство, толкает меня на обнаро-

дование событий, имевших место год тому назад. Я делаю это для того, чтобы весь мир знал, что французы умеют не только гордиться своими победами. Они также могут все-народно признать свои ошибки и заблуждения, — отнюдь не из гордости, конечно, а для того, чтобы впредь их избежать.

Если публикуемые мною строки доставят неприятные минуты участникам описываемой экспедиции — я приношу им заранее свои глубокие извинения. Подлинные имена и фамилии заменять вымышленными не могу, так как считаю это недостойным, чисто писательским трюком.

Лицам, которые усомнятся в правдивости всего мною описанного — рекомендую обратиться к нотариусу города Парижа, господину Мерье, у которого хранятся подлинные документы.

Труд свой, как и всю свою жизнь, как свою любовь, — почтительнейше посвящаю мадемуазель Клэр де Снер.

Жюль Мэнн

Красивый многоэтажный дом венчала мансарда. Длинный и узкий, пролегал коридор. В темноте, с которой неудачно боролся единственный газовый рожок, словно солдаты на параде, такие же серые и одинаковые — выстроились двери. Разница между ними ограничивалась номерами: 121, 122, 123 и дальше. Выделялась только дверь с № 128.

Захватанная пальцами, испещренная надписями легкомысленного содержания, на ней упорствовала визитная карточка:

Оноре Туапрео

Ученый

— Здравствуйте, профессор! — приветствовали его соседи по коридору. Только ехидная Мариэтта Блинболь, сведя крутые брови в насмешливую линию, при встречах с Туапрео иронически шелестела:

— Здравствуйте, дедушка!

Глупости! Конечно, Туапрео не был дедушкой ни «де факто», ни «де юре». Смешно, когда называют дедушкой молодого человека 57-ми лет! Но все же Туапрео был сердит на Мариэтту и тщательно избегал встреч с нею. Вернее, встречаясь — он не замечал ее. Сделать это было нетрудно, ибо Оноре Туапрео, как и подобает всякому ученому — был одержим различными идеями.

Два года тому назад он закончил многолистный свой труд «Блуждающие деньги». Это был обширный трактат о деньгах, которые блуждают по миру в виде почтовых марок.

Оноре Туапрео высчитал, что человечество ежегодно выбрасывает на ветер, т. е. на марки, на клей, на штемпельную краску и так далее — 5.283.044.217 франков и 94 сантима. Опираясь на сугубо научные данные и делая ряд ценнейших ученых предпосылок, Оноре Туапрео в конце своего труда призывал человечество отказаться от столь безумной расточительности.

Голосу его никто не внял.

Две недели Оноре Туапрео пребывал в черной меланхолии и строптиво проклинал косное человечество. Но однажды, на бульваре Сен-Лазар, его осенила новая идея и он пошел за нею, как юноша за любовью, как ночь за днем.

Он забывал о еде. Месяцами не менял белья. Не подстригал бороды. Он упорно и настойчиво работал.

Нельзя сказать, чтобы Туапрео, даже не будучи одержим идеями, смог позволить себе какие-нибудь излишества. В захудалом колледже, три раза в неделю, он читал лекции по истории античной Греции, и гонорара едва хватало на оплату скромных потребностей ученого. Но, захваченный великой идеей, г-н Туапрео не замечал скудного, почти нищенского своего существования.

И вот, неделю тому назад великий труд был закончен. Господин Туапрео поставил последнюю точку. Самодовольно потирая руки, рассмеялся и, разбив имевшиеся в наличии три яйца, — зажарил и съел яичницу-глазунью.

Веселые мысли человека-победителя в трудной работе немного отуманили сознание господина Туапрео, и когда яичница давно уже была съедена, — он еще долго чайной ложечкой брал пустоту со сковородки, клал в рот и смаковал уже отсутствующую яичницу.

Глупости! Конечно, он смаковал свою победу.

Завтра мир будет удивлен! Послезавтра он в восторге будет кричать:

— Да здравствует Оноре Туапрео!

Тысячи телеграмм, поздравления. Звания «почетного» в академиях всего мира. Словом, в этот вечер захмелевшей от восторга голове г-на Туапрео мерещилась слава.

И наутро, впервые за два года вычистив свой сюртук, г-н Оноре Туапрео отправился на прием к господину президенту республики.

Аккуратно завернутый в газету под мышкой у ученого, покоился его новый труд; «Мы слишком бедны, чтобы воевать», или «Миллиарды, которые вопиют».

Президент г-ну Туапрео в аудиенции отказал дважды. После недолгих колебаний, г-н Туапрео оставил свое детище секретарю для рассмотрения и доклада г-ну президенту.

Две недели господин Туапрео удивлял тихие парижские окраины своим победоносным и сияющим видом. Гордо задрав нос, он шествовал из улицы в улицу и смотрел на встречных, как отец на детей, удачной спекуляцией обеспечивший их будущее.

— Старый голландский (?) петух! — укрепились в эти дни за ним кличка в колледже.

А господин Туапрео был полон своей победой. На улицах, в колледже, у себя дома, — всюду он смаковал свою победу, он предвкушал славу, и воображаемые лавры щекотали высокий лоб ученого. Еще и еще раз проверял он в уме свои выводы, и неизменно приходил к радующему заключению, что в великом труде «Миллиарды, которые вопиют» — нет ни одной ошибки, ни одного необоснованного утверждения.

Ежедневно Франция тратит на изготовление самых разнообразных средств уничтожения в виде броненосцев, винтовок, сабель, револьверов и т. п., тратит на содержание и организацию вооруженных сил...

Тут господин Туапрео хитро и многозначительно улыбался. О, это было проделано блестяще и безошибочно, это было высчитано до последнего сантима: Франция тратит ежедневно 23.971.118 франков и 42 $\frac{1}{2}$ сантима! Эти $\frac{1}{2}$ сантима, детализирующие цифру и как бы придающие ей большую основательность и убедительность — умиляли господина Туапрео.

В этом месте своих размышлений он неизбежно вынимал платок и вытирал набегавшую слезу восторга.

И это тратится в один день! Г-н Туапрео высчитал, сколько тратится в неделю, в месяц, в год. Г-н Туапрео в своем великом труде точно высчитал, какие колоссальные богатства сэкономит Франция в первые же десять лет по принятии его проекта. Его проекта!

Ах, он был прост, как и все подлинно великие мысли. Г-н Туапрео, опираясь на могучий рычаг логики, на объемистый свой труд, испещренный цифрами, диаграммами, сносками и указаниями на авторитетные источники — предлагал господину президенту немедленно распустить армию, прекратить производство оружия и всех средств уничтожения. Последние главы своего труда г-н Туапрео, от избытка чувств, переполнявших его, — писал белыми стихами, но это не умалило сугубой научности этих глав. В последних главах г-н Туапрео доказывал с железной логикой неоспоримой учености, что немедля благородному примеру свободной Франции последуют все великие и малые страны, и что в недельный срок мир навсегда избавится от ненужных, непроизводительных, преступных расходов и деньгами, и живой силой. Он приводил точную цифру мировой экономии в первый же год по принятии его проекта. Нули с правой стороны этой цифры не уместились в одной строке, и г-н Туапрео, торжествуя, допустил вещь еще небывалую дотоле в истории начертания. Господин Туапрео перенес в другую строку не слоги, нет! Господин Туапрео перенес в другую строку неуместившиеся нули! И это были «Миллиарды, которые вопиют».

Две недели господин Туапрео носил по парижским улицам свою увитую лаврами голову... Это были две недели ранней весны, когда небо над Парижем становится невесомым, когда бульвары первым весенним цветением опьяняют камни мостовых и камни домов, когда Париж кажется юным и немного захмелевшим.

В понедельник, заранее торжествуя победу, в канцелярию господина президента бодро и уверенно шагал молодой ученый Оноре Туапрео. Даже самый злейший его враг не смог бы сказать, что ему больше сорока!

Когда-нибудь некий скучающий статистик займется подсчетом количества весенних аварий. Ах, мы боимся, что результаты его подсчетов будут безрадостны и необъятны. И вероятно, ему, как Оноре Туапрео, придется перенести нули в другую строку. Он вычертит наглядную диаграмму весенних аварий, он вычертит диаграмму разбитых весною надежд, упований, сердец. И горы разбитых весною надежд и упований будут во много раз превышать Гауризанкар, а мостовая из разбитых сердец трижды сможет опоясать земной шар, хотя к тому времени мостовые уже будут историческим пережитком.

Через полтора часа г-н Оноре Туапрео вышел из канцелярии г-на президента — разбитый и дряхлый. Его труд был найден крамольным, безумным, зловредным. Подумать только! Господину Туапрео категорически было предложено оставить свои пагубные идеи и секретарь господина президента совсем недвусмысленно заявил, что в противном случае дело может окончиться тюрьмой или сумасшедшим домом.

Померкло солнце для господина Туапрео. Радующий весенний день обернулся химерой. Сердце ученого было разбито. Дрожащим голосом он попросил вернуть ему «Миллиарды, которые вопиют».

Секретарь любезно улыбнулся, а господину Туапрео показалось, что он хищно оскалил волчьи клыки.

— Ваш труд, господин Туапрео, направлен нами для хранения в архив департамента тайной полиции.

Секретарь помолчал минутку, любясь эффектом своих слов.

— Но, господин Туапрео, я не рекомендовал бы вам туда обращаться. Ведь вы должны понимать — там много тайн. И всякий входящий туда может остаться там тайной!

Секретарь еще раз любезно улыбнулся и поднялся с кресла. Прием был окончен. «Миллиарды, которые вопиют» погибли.

О, господин Туапрео прекрасно понимал, что в департаменте тайной полиции много тайн! Господин Туапрео вежливо поблагодарил господина секретаря и вышел. Ког-

да за ним захлопнулись двери канцелярии и многоголосый, уличный, весенний шум ударил в уши, — господину Туапрео стало дурно. Фигура, внезапно вынырнувшая из тени подъезда, поддержала господина Туапрео. Господин Туапрео оправился от минутной слабости, мутными глазами посмотрел вокруг и неверным шагом направился вперед. Фигура, поотстав шагов на десять, неизменно следовала за ним.

В этот день в самых различных районах Парижа, на самых отдаленных друг от друга улицах можно было видеть господина Туапрео, деловито шагающего неведомо куда. Ученый был неутомим. Так же неутомима была фигура. Когда над городом опустилась ночь, когда ноги вышли из повиновения и от усталости казались деревянными, господин Туапрео на каком-то безлюдном бульваре присел на скамью. В эту ночь господин Туапрео не пожелал возвратиться домой. Голова его свесилась на грудь, тело обмякло. Господин Туапрео — задремал.

На противоположном конце скамьи, повернувшись спиной к господину Туапрео, чутко прислушиваясь даже во сне, — задремала фигура.

Весенняя ночь неслышно шла над уснувшим Парижем.

2

Это произошло совершенно неожиданно.

Скромный городок наш спокойно лежит на правом берегу Роны и лениво глядится в ее медленные воды. Он не велик, но и не мал. Живут в нем спокойно, не спеша. Господин Бурже в течение восьми лет бессменно переизбирается мэром, и под его мудрым управлением наш город благоденствует. Среди немногочисленных учреждений года есть три нотариальных и три банковских конторы.

Вот уже семь лет, как я аккуратно к девяти часам являлся в контору лучшего нашего банка. Швейцар, важный и представительный, с необыкновенно пышными бакен-

бардами, с десятком медалей, расположившихся на широкой груди, и деревянной ногой, ловко припрятанной под штаниной, благосклонно улыбаясь, приветствовал меня:

— Доброе утро, господин Жюль!

— Доброе утро, Гастон! — и я важно проходил в застекленное помещение операционного зала.

Словом, карьера моя была обеспечена. Банк был надежный и крепкий, и даже инфляция не смогла поколебать его благополучия. Ретиво и аккуратно я вел порученные мне книги. Каждого 20-го с сознанием заслуженного долга получал свое жалованье. Правда, оно было невелико, но на удовлетворение моих скромных потребностей его вполне хватало. Мне даже удавалось ежемесячно откладывать небольшую сумму «на всякий случай».

Как-то так случилось, что несмотря на то, что осенью прошлого года мне исполнилось 28 лет — я остался холост. Иной раз я задумывался над этим обстоятельством, но это носило мимолетный характер и не тревожило моего покоя. В послеобеденные часы я люблю поваляться на диване. И вот, в этакой полудреме одолевают меня различные, подчас чудные мысли. Нередко думал я и о том, что я одинок, что мне не хватает женской ласки, что комната моя ни разу не оглашалась радующими звуками милого голоса, а вещи мои никогда не испытывали нежных прикосновений заботливых женских рук.

Жена! Это странное, даже пугающее слово. Жена? Это посторонний человек, внезапно врывающийся в твою жизнь, имеющий на тебя какие-то неограниченные права, могущий переставить мебель в твоей комнате, могущий потребовать себе новое платье или модные ботинки.

Жена?.. Нет, нет! Я не хочу милого голоса в моей комнате и мои вещи не желают испытывать нежных прикосновений заботливых рук. Нет, нет! Я не желаю, чтобы в моей комнате переставляли мебель и имели на меня какие-то права.

Так обычно кончались мои послеобеденные размышления о любви, о жене, о браке. Это, конечно, свидетельствует о моей отсталости, но к стыду моему я должен при-

знать, что я прожил 28 лет, не зная любви. Это неведомое мне чувство вполне заменяли регулярные посещения дома тетушки Котиньоль. Ее заведение отличалось благопристойностью и чистоплотностью, и посещалось лучшими людьми нашего города.

И вот весь мой покой, все мое благополучие и благоденствие были нарушены, буквально, в одно мгновение.

В солнечный воскресный день, не подозревая, что судьба подкарауливает меня, я прогуливался по главной улице, небрежно помахивая тростью.

— Сумочка! Моя сумочка! Да остановитесь же! — донесся до меня необычайно нежный, певучий голос.словно по самому сердцу хлестнули меня кнутом. Мгновенная дурнота овладела мною. Но это было только на секунду. В следующее мгновение я оглянулся на голос.

Ну, что я могу сказать? Как могу я описать это незабываемое мгновение? Все девушки мира, все хваленые красавицы были бы мною отвергнуты и я упал бы к ее ногам.

Да, так и случилось. Я увидел возбужденное женское лицо с громадными, карими, разгневанными глазами. Из окна затормозившего автомобиля беспомощно свешивалась очаровательнейшая ручка. Неуклюжий шофер не спеша открывал дверцу. Я глянул направо и шагах в двадцати увидел на мостовой черную сумочку.

— Она обронила! — прорезало мое сознание, и я сажеными прыжками помчался к сумочке.

Ах, не только люди, даже каштаны в цвету могут внезапно оказаться врагами. Упрямое дерево встало на моем пути. С треском переломилась моя трость и острым надломленным концом сверху донизу вспорола правую штанину. Меня настигал шофер. Я оглянулся. Мелькнули ее глаза, непонимающие и испуганные. Шофер пыхтел уже над самым моим ухом. Я ринулся вперед. Еще прыжок — и сумочка у моей груди.

— Ах! Держите! Держите!

Голос ее был также необычайно певуч, но увы, отнюдь не нежен. Ожившая ручка протестующе махала. Меня ож-

гло мгновенным стыдом. Я уже собирался выпустить злополучную сумочку.

— Как? Она думает, что я грабитель, вор? Но нет! Нет! Я не выпущу сумочки!

Я повернулся. Покраснев от натуги, шофер, растопыря руки, надвигался на меня с явным намерением схватить, задержать и отправить в полицию. Где-то тревожно звучал свисток. Сбегались любопытные прохожие. Но я не растерялся. Ударом в живот я сбил пыхтящего шофера и скачками понесся к автомобилю. Сзади кто-то улюлюкал, кто-то свистел. Но я уже у цели. Широко раскрытые глаза с ужасом уставились на меня.

— Уходите! Уходите! Что вам надобно?

Я подал сумочку.

— Мадемуазель! Несмотря на все происшедшее — ваша сумочка у вас, и я счастлив!

Действительно, я испытывал небывалое, неопишуемое состояние счастья. Мне хотелось смеяться, прыгать на одной ноге, выделять какие-нибудь необыкновенные антраша. Еще мне хотелось схватить эту ручку, прижавшую к груди возвращенную сумочку, и покрыть поцелуями. Конечно, не сумочку. Мне хотелось...

В эту минуту сокрушительный удар опустился на мою голову, и я растянулся во всю длину у ног моей очаровательной незнакомки. Меня настиг шофер. На какую-то долю секунды я растерялся. Быть может, я потерял сознание. Но это была доля секунды. К концу ее я уже был на ногах, и мой обидчик кряхтел от моих тумачков. От неожиданности он растерялся но, быстро оправившись, стал отвечать на удары. Вероятно, мне не поздоровилось бы от увесистых авто-тумачков, но голос, более сладкий, чем у райских гуррий, прекратил побоище.

— Остановитесь! Шофер! Как вы смеете! Сейчас же ступайте на место!

— Да! Как вы смеете и ступайте на место! — храбро подтвердил я.

Мой противник прорычал что-то протестующее, но все же покорно полез за руль. Я стоял перед большими смею-

щимися глазами и являл собою печальное зрелище. Костюм мой был растерзан. Из расцарапанной щеки сочилась кровь.

— Благодарю вас, господин... господин...

— Жюль Мэнн, мадемуазель, Жюль Мэнн! Банк Кремо, правление в Париже.

— Благодарю вас, господин Жюль Мэнн, за оказанную услугу. Я надеюсь, вы не очень пострадали?

— О нет, сударыня, что вы, наоборот... Столько удовольствия... Я готов...

— Во всяком случае, господин Жюль Мэнн, я вам очень признательна и мой отец, Марсель де Снер, будет рад засвидетельствовать вам мою признательность в нашем доме.

В моей протянутой руке очутилась крохотная визитная карточка. Мысли мелькали в разгоряченном мозгу, как молнии. Я колебался, смею ли я поцеловать протянутую ручку. О, я слишком долго колебался! Протяжно взвыла сирена и автомобиль тронулся. Все ж я успел поймать ласковый, благодарный и немного насмешливый взгляд и улыбку.

Все описанное произошло быстро, — минуты. Но это были роковые минуты моей жизни.

Уже давно скрылся автомобиль за поворотом, а я стоял растерзанный, окровавленный и избитый, стоял посреди мостовой и смотрел на карточку.

*Мадемуазель
Клэр де Снер*

Улица Тополей, 16.

Ну, вот, — так это произошло. Как видите, совершенно неожиданно. Мадемуазель Клэр де Снер вошла в мою жизнь.

Жена? О нет, — всего любимая — это ужасное, деспотическое создание. Она входит в вашу жизнь неожиданно

и незванно. Она с удобствами устраивается в вашем сердце и производит там какие угодно перестановки:

— Вот эти обычаи мы поставим направо, а эти привычки мы вынесем вон, — они устарели.

Совсем как жена распоряжается перестановкой кушетки и кресла! И вы подчиняетесь, и вы счастливы подчиняться, — вот что значит любимая!

Пять недель, пять счастливейших недель моей жизни промелькнули быстро, как сон.

Я познакомился с мадемуазель де Снер, с ее отцом, семейством. Я стал у них бывать ежедневно, затем — дважды в день. Я не слеп и не глуп — я влюбился, я полюбил. И для меня было очевидно, что моя любовь не отвергнута. Только теперь я понял, как дорого стоят всякие безделушки, всякие ненужные, на мой взгляд, вещицы: кольцо, брошь, даже корзина цветов. Моего жалованья мне не хватало. Мои сбережения испарились к концу третьей недели. Но все это ничуть меня не беспокоило. Клэр, очаровательная Клэр рада была видеть меня. Не считая, расточала мне свои улыбки. Позволяла целовать свои ручки и говорить всякий нежный вздор.

И однажды — я прекрасно помню этот день, — это была пятница, 28 июня, однажды... Но нет, лучше по порядку. В этот день я раздобыл под незначительный процент сумму, необходимую для того, чтобы купить понравившуюся Клэр камею. Я купил ее и переполненный счастьем доставить радость любимой — помчался на улицу Тополей. Клэр была одна. Она встретила меня грустными глазами.

— Что с вами, дорогая, вы так печальны?

— Ах, ничего, Жю, ничего! Просто, мне немного взгрустнулось.

— Но, дорогая, разве можно грустить, когда день так прекрасен, когда солнце ликует, когда я у ваших ног и умоляю разрешить мне подарить вам эту безделку.

— Ах, Жю, милый Жю, — вы очаровательны так же, как эта камея! Да подымитесь же вы, подымитесь.

Я поднялся. Клэр радостно и хитро прищурила глаза.

— Я решаю вам приколоть ее.

Руки мои изрядно дрожали, но все же я справился и приколот камео. Вероятно, от зноя, Клэр при этой операции тяжело дышала. Как-то так произошло — я до сих пор не могу понять, как это случилось, — но прямо перед собой я увидел глаза любимой и ее вздрагивающие губы.

О, боже, это было такое счастье, но оно было так кратковременно! Поцелуй окончился. Клэр опустилась в кресло.

— Дорогая, любимая, я прошу вас быть моей женой...

В совершенно невменяемом состоянии, я упал на колени и пылающим лицом прижался к ее ладоням. Тут произошло объяснение.

Клэр меня любит. Ну, кто же может в этом сомневаться, если сама она это подтвердила. И разве можно ее обвинять в том, что она хочет быть богатой? Ведь это вполне резонное желание, — я думаю, вы тоже не отказались бы от богатства? Да, Клэр хочет быть богатой. И я не сомневаюсь в том, что так оно и будет. Даже больше, мне кажется, что Клэр уже на пути к богатству. Словом — мы объяснились.

— Дорогой Жю, я вас люблю, — вы это видите. Дорогой Жю, я согласна быть вашей женой, — вы это слышите. Но...

Клэр замолкла и сердце мое падало, падало куда-то без конца.

— Но... Это будет только тогда, когда вы будете богаты! Вы слышите? Ну, встаньте!

Я встал.

— Жю, для того, чтобы я стала вашей женой — вы должны разбогатеть. Вы должны быть богаты, Жю!

— Да, Клэр, я должен разбогатеть и я разбогаею!

Твердым шагом я вышел из дома № 16 по улице Тополей. Я поднял голову.

Мне улыбнулись веселые, немного насмешливые глаза. Я поклонился. Очаровательнейшая ручка махнула мне на прощанье. Так кончилось наше объяснение, так окончились счастливейшие в моей жизни пять недель.

Два дня и две ночи провел я в раздумье и колебаниях. На третий день я явился к директору нашего банка и зая-

вил о том, что оставляю службу.

Сегодня утром Клэр с отцом провожали меня.

В назначенное время пришел экспресс. Карие, немного насмешливые глаза покрылись влагой. Но Клэр не заплакала. Пока поезд не унес меня в золото колоссящихся полей, — мелькала милая рука, посылая прощальные приветы.

И вот — я еду в Париж за богатством, за удачей, за счастьем. Любовь! Деспотичное чувство! Так внезапно оно ломает установившуюся жизнь, налаженную карьеру. Но я счастлив, — я везу с собой в Париж ее любовь, ее обещание быть моей женой. И я уверен, что в недалеком будущем смогу представить вам госпожу Клэр Мэнн.

3

Когда г-н Туапрео явился на очередную лекцию в колледж — его пригласили в кабинет директора. Директор был чрезвычайно любезен, но краток.

Через 20 минут ученый Оноре Туапрео вышел из колледжа.

В кабинете директора осталось прошение г-на Туапрео об отставке. Начертав на нем красным чернилом «просьбу удовлетворить», — директор созвонился с канцелярией г-на президента и не без почтения доложил, что распоряжение...

— Помилуйте, какое распоряжение! — перебил директора раздраженный голос секретаря г-на президента:

— Это была просто частная беседа!

— Виноват, ваше превосходительство, виноват! — растерялся директор, — виноват, частная беседа — выполнена.

— Благодарю вас, господин директор!

Директор отошел от аппарата, вытер внезапно выступивший на лбу пот и со вздохом облегчения опустился в кресло.

А ученый Оноре Туапрео, так неожиданно и внезапно избавленный от своих обязанностей по отношению к кол-

леджу,— шел людными улицами и упорно размышлял: имеет ли происшедшее какое-либо отношение к его погибшему в недрах канцелярии г-на президента труду. Не придя ни к какому выводу, он зашел в паштетную — перекусить. Господин Туапрео был рассеян и не наблюдателен, иначе он бы заметил, как вслед за ним вошел некий господин, поразительно часто попадавшийся ему на глаза в последние дни. Так же неотступно, как этот господин — преследовали Туапрео неудачи.

Ученый имел три частных урока и по необъяснимому совпадению потерял их в один день. Оноре Туапрео сделал соответствующую публикацию в газетах и получил шесть новых учеников. Но когда он явился на второй урок — ему пришлось объясняться с родителями и все шестеро, словно по уговору, сохраняя изысканнейшую любезность, отказались от дальнейших услуг Туапрео. Ученый был подавлен преследующим его роком. Но все же он еще не отчаивался. Снова направил он свои шаги в контору публикаций.

На этот раз с публикацией г-на Оноре произошло досадное, но неисправимое недоразумение. Адрес ученого был совершенно искажен.

Дойдя до крайних пределов возмущения, Туапрео направился в контору публикаций за объяснениями. Но объяснений не последовало. Наоборот — все происшедшее было до последней степени необъяснимо и непонятно. В конторе публикаций приняли г-на Туапрео весьма любезно и кротоко, но твердо заявили:

— Господин ученый, то о чем вы говорите — невозможно!

От удивления и гнева Туапрео чуть не задохнулся.

— Как невозможно? Что же, стало быть я вру, измышляю, предъявляю вздорные претензии?

— О нет, что вы, господин профессор! Ну, кто может так думать? Вы просто заблуждаетесь, — вы, вероятно, сами перепутали адрес. Ах, ведь ученые всегда так рассеяны!

— Я? Перепутал адрес? Двадцать лет живу в одном доме — и перепутал? Вы полагаете, что я сумасшедший?

— О нет, профессор, к чему такие резкости! Не волнуйтесь, не горячитесь, мы сию минуточку найдем оригинал вашей публикации и вы убедитесь, что мы правы. Ведь такая опечатка невозможна: у нас корректора, корректора, корректора! Сию минуточку!

И действительно, — через минуту любезный сотрудник конторы поднес к самому носу Туапрео подлинник публикации. Глаза господина Туапрео выразили крайнюю степень удивления, краска стыда залила лицо и ему ничего не оставалось более, как извиниться перед любезным сотрудником.

И все же, черт побери, Туапрео прекрасно знал свой адрес и никак не мог его перепутать. Но документы — упрямая вещь, а в подлиннике ясно значился выведенный черком Туапрео искаженный адрес.

Сбитый с толку ученый еще дважды пытался поместить публикацию, но неизбежно адрес оказывался перепутанным. Побужденный, но все же ничего не понимающий Оноре сдался и уже более не искал возможностей заработка.

Незначительные сбережения быстро иссякли. Наступили дни систематического недоедания. Был упразднен завтрак. Затем ужин. Обед становился все более голодным. И наступил день, когда в карманах господина Туапрео не оказалось ни сантима. Желудок настоятельно требовал пищи. Ученый бродил мимо витрин гастрономических магазинов, кафе и ресторанов, мимо баров и паштетных, мимо всех многочисленных мест, где люди насыщаются, едят или приобретают съедобное. Профессор впервые ощутил, именно ощутил отнюдь не платоническую любовь и вожделение к копченым сигам, к нежно-розовым устрицам и бесстыдно красным омарам. Он исходил слюной при взглядах на пышные пуддинги, на замысловатые торты, на бесчисленные сорта конфет. Резкие боли полосовали истощенный желудок при взглядах на бри, честер, при взглядах на окорока и колбасы.

И хотя за всю свою жизнь Оноре Туапрео едва ли выпил литр вина, — теперь его прельщали колоссальные горы бутылок, наполненных разноцветными винами и вод-

ками. Он жаждал попробовать от каждой. Он хотел узнать вкус шампанского и ликеров, он хотел ощутить на языке горечь коньяков и разнообразнейшие вкусы аперитивов.

Словом, Оноре Туапрео был голоден и его томила жажда.

— Дьявольщина! Я прожил 57 лет, за свою жизнь истребил уйму всяческих продуктов, но ни разу я не ощущал вкуса того, что ел. А вот теперь, когда я жажду ощутить этот вкус — это недостижимо!

Ученый крепко выругался замысловатыми научными терминами и погрозил кулаком по направлению площади Этуаль. Вероятно, это направление было совершенно случайно. Ибо какие же враги могут быть у ученого Оноре Туапрео на площади Этуаль?

Быть может, на этой, никому не страшной угрозе и безобидных ругательствах, Оноре Туапрео и успокоился бы, но этого не допустили голодные колики. Ученый тщательно, но явно безнадежно еще раз обыскал свои карманы. Увы! Пустота в них осталась неизменной.

Внезапно профессор сделал чрезвычайной важности открытие. Оно было плодом логически построенных рассуждений.

— Дома есть кое-какие вещи. Ну, скажем одеяло, сюртук, новые штиблеты. Так, — это бесспорно. Приобретая эти вещи, я платил за них деньги. Следовательно, скажем, сюртук равен x денег, которые я за него заплатил. То есть — я имею x денег, равный моему сюртуку. Это тоже бесспорно, безошибочно. Дальше. Если сюртук равен x денег, следовательно — я могу эти деньги получить. Каким же образом?

На несколько минут профессор задумался, но блестящее разрешение задачи не замедлило осенить светлый ум ученого.

— Я должен продать сюртук, и тогда буду иметь искомый x ! Ну, предположим, что я допустил какую-нибудь ошибку в своих расчетах, и это будет меньше, это будет $x - y$. Но все же это будут деньги, деньги!

Закончив свои размышления, ученый возликовал и, внезапно помолодев, что с ним всегда происходило в мо-

менты побед творческой мысли,— вприпрыжку побежал домой реализовать искомый х.

Теоретические выкладки ученого Туапрео оказались непогрешимы. Практически это выразилось в нескольких франках и десятке сантимов, взамен парадного сюртука.

Появилась возможность пообедать. На этот раз Оноре ел необычайно вкусные блюда, хотя все они носили тривиальные названия, и даже хлеб — был не просто хлеб, а необычайно вкусное нечто. Покончив с обедом — господин Туапрео расплатился и вышел на улицу. Ему показалось, что ресторанные порции малы.

— Безусловно малы—и я снова голоден!

С такими мыслями ученый нырнул в двери ближайшей паштетной. Пробыв там довольно продолжительное время, г-н Туапрео вышел из паштетной только для того, чтобы, пройдя пять шагов — завернуть в кафе. Затем последовала кондитерская. В каком-то чрезвычайно воздушном павильоне ученый ел мороженое, и пил довольно сложный аперитив в прохладном подвальчике. На этом и закончил свое существование сюртук ученого Оноре Туапрео. Пьяненький профессор чудом не был раздавлен. И только рука провидения, относящегося с должным уважением к трудам Оноре, смогла провести его путаными улицами и переулочками, поднять в спасительную мансарду и заботливо уложить в постель.

Ах, в наш век ничто не делается безвозмездно и даже провидение за оказываемые услуги взимает гонорар.

На крыше соседнего дома пылал жаркий полдень, когда Оноре Туапрео проснулся. Все происшедшее вчера вспоминалось смутно: не то сон, не то в детстве слышанная сказка. Неодобрительно относясь к снам и сказкам (даже слышанным в детском возрасте), громадным усилием воли профессор восстановил происшествия вчерашнего дня вплоть до третьего бокала радужного аперитива. Дальше ищущая память профессора натыкалась на плотную и темную завесу. К двум часам профессор окончательно прекратил свои экскурсии в ушедший день, поднялся, оделся, освежил

лицо и руки и задумался над тем, что из своего имущества реализовать на сегодня.

Выбор пал на парадные брюки. Профессор, задумавшись над бренностью всего живущего, подошел к гардеробу, открыл дверцу и не глядя пытался снять брюки с вешалки. Рука ловила только пустоту. В недоумении, профессорглянул в гардероб.

Он был пуст. Профессор растерялся. Нервно обыскал он всю комнату, выдвинул все ящики комода, отодвинул кровать и стулья, почему-то заглянул даже в рукомойник, — но всюду, так же как и в гардеробе, — было пусто.

С непривычки от аперитивов болит голова. Слегка поглаживая свой крутой и высокий лоб, профессор присел на стул.

— Да, несомненно, — это значит, что меня обокрали, — пришел он к печальному заключению.

Профессор! Профессор! Вы ошиблись, вы заблуждаетесь! Ну, какая это кража? Вы забыли о добром провидении, так заботливо доставившем вас домой сквозь суету и шумиху улиц, на которых вчера вы могли погибнуть трижды и четырежды! А вы говорите о воровстве! Ах, профессор, профессор, — вы совершенно не знакомы с экономикой века, вы совершенно не знаете жизненных законов нашего времени. Всякий труд должен быть оплачен, профессор, а доброе провидение немало потрудилось, пока вы смогли заплетающимся языком сообщить свой адрес. Пока оно, это заботливое провидение, подняло вас на ваш этаж и уложило в вашу постель. Вы несправедливы, профессор, вы заблуждаетесь, вы клеветаете! Профессор, вы...

Но, впрочем, я должен просить у вас извинения, уважаемая читательница, или читатель, — я должен извиниться, и я извиняюсь. Дело в том, что я немного поторопился и забежал вперед: я еще не знаком с профессором Оноре Туапрео. Я его еще не знаю, не видел, а следовательно, и не мог сделать ему своего многословного замечания о воровстве, о провидении и о труде, который должен быть оплачен.

Уважаемые читатели, я, Жюль Мэнн, скромный провинциал, попал в Париж и познакомился с великим ученым значительно позже истории с провидением, и вот при каких обстоятельствах.

4

Добрый гений, или, если вам угодно будет, благожелательное провидение, оказалось очень аккуратным и не оставило в комнате ученого ни одной вещицы, кроме того, что было на нем.

Ученый был огорчен, подавлен, убит. Именно теперь, когда к тому не было никаких возможностей — его одолевали всяческие, доселе неиспытанные желания. Он жаждал дорогих вин и яств, он мучительно тосковал по хорошей сигаре. Словом, Оноре Туапрео был одержим желаниями, осуществление которых было невозможно без наличия денег, денег и денег. Наконец, кроме всего этого, совершенно неосуществимого при настоящем положении вещей, Оноре Туапрео просто был голоден, хотел есть. Но даже и эта скромная потребность — была неосуществима.

Печальные и безрадостные мысли входили в голову ученого, как ветер в покинутый дом, окна и двери которого настежь. Печальные мысли рождали печальные выводы.

— Несомненно, совершенно несомненно, что я осел! Ах, какой я осел! К тому же — старый! Подумать только, — сколько энергии, сколько невозвратимых лет потратил я на какие-то дурацкие выкладки, на никому не нужные изыскания, на разработку проектов, гениальнейших проектов, за которые гонят из колледжа. Проектов, из-за которых я сперва остаюсь без завтрака, затем без ужина, обеда и вот, наконец, — без чего бы то ни было. Осел! Старый, глупый осел! Вот, броди теперь по улицам и голодными глазами заглядывай, как живут, понимаешь, живут другие. Пользуются жизнью, пользуются ее благами, стремятся к тому, чтобы возможно больше этих благ урвать, упиться ими до-

сыта, до отвала... Ах, осел, осел, — безнадежный, непоправимый осел!

Подгоняемый своими безрадостными размышлениями, Оноре Туапрео дошел до Западного вокзала и уселся на скамеечке скверика. А мысли, неотвязные и горькие, не оставляли стареющий профессорский мозг. Они делали скачки, метали петли, рождали неожиданные выводы и, наконец, уперлись в определенное, твердое и заманчивое решение. Осознав это решение, профессор застыл на несколько минут, уподобившись соляному столбу, затем на поблекших щеках расцвели старческие розы румянца, глаза радостно и часто заморгали и профессор проделал несколько глотательных движений, чтобы избавиться от раздражающего избытка слюны. Принятое профессором решение основательно заполонило все существо ученого, собралось оформленной мыслью в мозгу, повисло на кончике языка, приподняло губы и Оноре Туапрео четко, громко и раздельно, а главное, безапелляционно и убедительно произнес:

— Я должен разбогатеть и я разбогатею!

Я подпрыгнул на скамейке от неожиданности, услышав свои собственные мысли, произнесенные так громко и с такой уверенностью. Я обернулся — и это было мое первое знакомство сученым Оноре Туапрео.

Передо мной сидел неряшливо одетый старик. Он упорно мотал головой и, словно стараясь вдолбить кому-то упрямому и непонятливому, повторял:

— Я буду богат! Буду!

Конечно, биологи и естествоиспытатели, да и вообще ученые — отрицают не только чудеса, но и самую возможность чуда¹, а я свидетельствую перед всем миром, что и в

¹ Я, конечно, имею в виду здесь только европейских ученых, ибо кто же осмелится оскорбить ученых Нового Света, заподозрив их в отрицании Высшего Промысла и чудес после блистательного «обезьяньего» процесса. Прим. автора.

наш, сугубо материалистический век — чудеса не перевелись.

На моих глазах выпрямлялась согбенная спина Оноре Туапрео, для меня пока еще странного незнакомца.

Его глаза загорались молодым светом уверенности в победе, совсем как башня Эйфеля ситроеновскими транспарантами. Смейтесь, малoverы, но даже его костюм на моих глазах разгладился и принял опрятный, я бы даже сказал, элегантный вид. Чудо происходило на моих глазах.

Ах, я на минуту закрыл их. И соблазнительной тенью проплыла перед ними обольстительная мадемуазель Клэр де Снер. Нежным шелестом защекотали ухо заветные слова:

— Я твоя Жю, я твоя, — ведь ты принес к моим ногам чековую книжку и сердце!

Но прочь, обольстительное виденье!

Я поспешно открыл глаза. Г-н Туапрео решительно поднялся со скамьи и твердыми шагами направился к выходу из сквера.

— Вот он, мой рок, вот она — моя судьба! Я должен следовать за этим чудесным человеком и он приведет меня к мадемуазель Клэр де Снер.

Мое провидение ускоряло шаги и я едва поспевал за ним. Так дошли мы до ближайшего спуска в метро. Тут провидению сделалось дурно и оно скрючилось в три погибели, прижавшись к стене. Не рассчитав шагов, я наткнулся на своего гения и чуть было не упал на него.

— Ах, какие ужасные боли!

Мой гений немилосердно тискал свой живот.

— хоть бы несколько сантимов на пирожок и кофе!

Неожиданно незнакомец выпрямился.

— Понимаете ли вы, молодой человек, какая это ирония судьбы?

Хотя я ничего не понимал, но поспешил согласиться, чтобы не раздражать своего гения.

— О нет, я от тебя не отстану, — чтобы там ни было, а я от тебя не отстану! — решительная мелькнула у меня мысль и я почувствовал, как пронеслась мимо мадемуазель Клэр

де Снер и ободряюще сжала мою руку.

— Нет, вы ни черта не понимаете, ни черта!

Мой гений наступал мне на ноги и грозно махал передо мною кулаками. Я молча, стоически выдерживал неожиданную атаку, слегка отступая вдоль стены.

— Ни черта! Ни черта! О, тысяча французских дьяволов и собор Парижской богородицы в придачу, — да и где вам понять! Перед вами, молодой человек, будущий богач, миллионер, нет, — миллиардер! И вот — он корчится от голодных резов в желудке, он близок к тому, чтобы потерять сознание от голода. Но нет! Н-е-е-т, молодой человек, шутить изволите, н-е-е-т!

С этими словами Оноре Туапрео повернулся и быстро-быстро помчался, а не пошел вдоль тротуара. Я не растерялся. Через две минуты я догнал беглеца.

— О, господин будущий миллиардер!

Вероятно в голосе моем было нечто, внушившее доверие ко мне.

— Ну? — грозно остановился Оноре Туапрео. — Ну, что вы еще можете сказать?

В растерянности я лепетал нечто маловразумительное и путаное, но, по-видимому, Оноре Туапрео понял меня и через несколько минут мы сидели в кафе. Я с умилением следил за тем, как насыщался ученый.

Когда еда была окончена, мне доставило большую радость уплатить по счету. Я даже не удержался и подхихикнул.

«Ну, теперь-то уж шалишь, теперь я, можно сказать, пайщик будущих богатств!»

— Дитя мое, я хочу, чтобы вы называли меня — учитель.

Мне радостно было ощутить на спине нежное и дружеское поглаживание руки будущего миллиардера, и я с благоговеньем произнес:

— О учитель! Дорогой учитель! Я прошу вашего милостивого разрешения рассказать вам все о себе, и я думаю, что вот в этом бистро — мне удобно будет это сделать.

— Идем, дитя мое, идем!

Мы вошли в бистро.

5

Дни мчались головокружительно быстро. Так же быстро, как таяли мои последние франки. Аппетиту профессора можно было позавидовать.

В мансарде Оноре Туапрео появился новый жилец, вернее — ночлежник. Это был я.

Я не отставал ни на шаг от профессора, и ученый не делал ни шагу без меня.

Мрачными тоннелями метро мы мчались из одного конца Парижа в другой, из Национальной библиотеки в академическую, из архива иезуитов в архив города Парижа.

Как заправская интендантская крыса, Оноре рылся в каталогах. Оноре нагружал меня фолиантами, переплетенными в свиную кожу, и я должен был без конца листать полуистлевшие страницы.

Временами приходило малодушие. Я думал: «Этот старик — безумец. Какие миллионы он может найти среди этих пыльных каталогов, на страницах этих полуистлевших книг?» Но это были минуты. Я взглядывал на Оноре, на его наморщенный лоб, в его маленькие, сверкающие уверенностью глазки, — вера моя воскресала и я быстрее листал страницы, упорнее вгрызался в строки, настойчиво ловил ускользающий смысл архаических записей и повествований.

Едва вставала где-то за городом, невидимая за громадами домов, заря — мы уже были на ногах. Мы дежурили у очередной библиотеки или архива, и как только двери для посетителей открывались, — мы снова и снова бросались в атаку.

Поздно вечером, ночью, мы, от усталости еле передвигая ноги, взбирались на этажи, в мансарду. Силы таяли. Франки — тоже таяли. Таяла моя, да кажется и профессорова, вера. Но вот, однажды...

Я прекрасно помню: был вечерний час. В громадное окно старого, полузаброшенного францисканского монастыря лился розовый, невесомый свет. Вероятно, на полях, там, где кончался Париж и начиналась Франция, — падало за горизонт кроваво-красное солнце. Книга, которую я листал, была тяжела и от нее дурно пахло. Но я покорно и тупо листал страницы и нигде не встречалось мне слово: клад... сокровище... деньги... золото...

— Шшш, мальчик! Тише!.. Вот.

Оноре воровски оглянулся на дремлющего монаха и под самый нос подсунил мне том в позеленевшем от времени и плесени переплете.

— Шшш! — многозначительно шипел Туапрео, а я читал титульный лист:

СВЯТОЙ ОТЕЦ
МОРДИУС БАРРЕЛИУС
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА
СКРЫТЫЕ СОКРОВИЩА
ПОВЕСТВОВАНИЕ О ЗАТОНУВШЕМ ГРАДЕ КИТЕЖЕ

Я задрожал от восторга. Я стиснул руку Оноре, и под высокими сводами громко отдалось эхо хрустнувших костей.

— О, учитель! — трагически прошептал я и небывалая бодрость и смелость переполнили все мое существо. Я захопнул сокровенный томик, сунул его под мышку, схватил за руку профессора и мы двинулись к выходу.

Проклятая ряса заснувшего у дверей монаха! Мы запутались в ней. Мы шлепнулись на пол. Сперва она, книга. Затем я. На мне учитель. А сверху смертельно перепуганный монах.

— О дева Мария! О младенец Иисус! Сгинь! Рассыпья, нечистый! — бормотал вскочивший монах и крестил нас, словно были мы исчадь ада.

— Не надо, не надо! Мы просто случайно упали, — потирая ушибленное колено, уверял учитель неистовствующего монаха.

— Мы уходим! — решительно поднялся я, бережно прижимая к груди отысканные сокровища.

— В вашей библиотеке нет ничего интересного.

— Да, но я вижу — вы держите книгу.

— Ах, эта?

Изобразив презрительную мину, я помахал перед самым носом монаха трудом отца Мордиуса Баррелиуса.

— Это вы можете получить...

— Дитя мое, опомнитесь! — завизжал профессор, но величественным жестом я его остановил.

— Учитель, заткнитесь!¹

— Впрочем, я могу взять ее на память о посещении вашей библиотеки, а за беспокойство — вот!

С ловкостью заправского жонглера, монах на лету поймал подброшенную монету.

Мы мчались длинным коридором, и учитель не отставал от ученика. На этот раз домой мы приехали в такси. Я знаю светские обычаи: миллионерам не пристало пользоваться метро или трамваем!

Все переменилось. Все пошло кругом. Все закипело. Вот они, наши миллионы, они лежат перед нами! Они ждут, чтобы мы пришли и взяли их.

Мы работали как звери. Мы работали круглые сутки. План нашей экспедиции рос, как на дрожжах. В недельный срок он был разработан. Еще через два дня мы составили смету на необходимые расходы и перед нами, как

¹ Здесь непереводаемая игра слов: это производное, но уже модернизированное выражение, рожденное старинным французским обычаем времен инквизиции, когда глотку нежелательного оратора затыкали кляпом тряпичным, деревянным или железным. Прим. переводчика.

барьер перед лихим скакуном, выросла солидная цифра с отвратительными жирными нулями с правой стороны. Даже для того, чтобы сделаться миллионером, а может быть, и миллиардером (о Клэр, — ты слышишь?) — нужны деньги. Два дня и две ночи сидели мы с учителем на полу среди чертежей, планов и схем. Сидели в разных углах и думали о том, где и как добыть необходимые деньги. На рассвете третьего дня мы горестно вздохнули и решили, что придется принять в компанию третье лицо и это третье лицо должно финансировать предприятие...

Учитель сбросил охватившее его уныние. Он потребовал у меня весь остаток моих считанных франков. Я кротко исполнил его требование. Оноре Туапрео вышел и через два часа возвратился в новеньком сюртуке, в классически заутюженных брюках и ослепительном цилиндре.

— Ну, дитя мое, — поцелуемся!

Мы поцеловались.

— Я ухажу, а вы, Жю, составьте подробный список, где и что мы должны закупить... Ну, еще раз поцелуемся!

Мы поцеловались еще раз. Учитель торопливо смахнул слезу.

— Либо я, дитя мое, вернусь с деньгами, либо я совсем не вернусь... Об этом, если господь приведет, вы сможете прочесть в отделе происшествий. Я думаю, что я предпочту Сену.

— Учитель! Ради бога! — не выдержал я и разрыдался.

— Ну, успокойтесь, успокойтесь, дитя мое! Займитесь лучше списком и верьте в победу. Я пошел, — пан, или пропал!¹

Ах, какой это был тревожный день. Я буквально не находил себе места.

Путал списки, путал названия фирм, у которых мы собирались приобретать необходимые для нашей экспедиции вещи.

¹ Бретонская народная поговорка, означ. — «победа, или гибель». Прим. переводчика.

День тянулся мучительно медленно. Учитель не возвращался. Волнение мое нарастало. В комнату, кошачьей походкой, вошел вечер. Я не выдержал и, кубарем скатившись со всех лестниц, вымолил у газетчика в кредит вечерние выпуски газет. Руки мои дрожали, когда, вzbравшись в комнату, я по очереди разворачивал еще влажные листы и в рубрике самоубийств искал знакомое имя.

Но вот и последняя газета, и, слава создателю, имени моего учителя нет ни среди утопленников, ни среди трамвайных жертв.

Но где же он, где же он?

И вот, когда волнение мое достигло крайних пределов, когда я уже стал ощущать, как миллионы вылетают из моих карманов, как в недостижимое далеко отодвигается обольстительнейшая мадемуазель Клэр де Снер, — внизу, у подъезда, оглушительно взревела автомобильная сирена.

Сердце мое остановилось, кровь прилила к лицу и я застыл среди комнаты, боясь подойти к окну и глянуть вниз.

Несомненно — это подъехала скорая помощь. Вот сейчас откроются двери и внесут искалеченное тело моего дорогого учителя, в порыве отчаяния бросившегося под трамвай.

Секунда.

Минута.

Вечность!

Вдруг раздался, как мне показалось, оглушительный стук в двери.

— Ваа... ваай... дите! — еле пролепетал я и от ужаса зажмурился.

Дверь скрипнула. Я сильнее сжал веки, чтобы избежать ужасного зрелища.

— Господин Оноре Туапрео ждет вас внизу в авто!

Прошло некоторое время, пока до моего сознания дошли произнесенные мальчишеским голосом слова.

Я открыл глаза. Весь в галунах и золотых пуговицах, передо мной стоял мальчик-грум, мальчик-шоференок, — я не знаю, как его назвать.

— Господин Оноре Туапрео просит вас пожаловать вниз, — он ждет вас в авто!

Я опрокинул улыбающегося мальчишку. Я вихрем пронесся вниз по этажам. Я ураганом ворвался в роскошный «ситроен». Я сжал в объятьях моего дорогого учителя.

— Дитя мое, разрешите вам представить нашего нового компаньона!

Большое, розовое и улыбающееся поднялось с сиденья и крепко стиснуло мою руку.

— Дэвид Бартельс, — рад быть товарищем и другом!

Сирена оглушительно взревела и колеса зашипели, полируя асфальт.

6

Мы переселились к Бартельсу, и лакеи, обшитые галунами и золотыми пуговицами, больше не удивляли меня. Я моментально привык отдавать им приказания и пользоваться их услугами. О, Клэр! Слышишь ли ты меня? Это еще одно доказательство того, что мне суждено быть богатым. Я в этом убежден. Так же убежден в этом и дорогой учитель Оноре. Насколько велика была сила нашего убеждения, можно судить по тому, как легко подписывал господин Бартельс чеки на расходы по экспедиции.

О, я никогда не забуду этого торжественного вечера, вернее, ночи. Нашей первой ночи под гостеприимным кровом господина Бартельса. В эту ночь профессор детально ознакомил нас со своими выкладками и расчетами. В эту ночь перед нашими прозревшими очами встала тень святого отца Мордиуса Баррелиуса. Убежденной верой и глубоким знанием веяло от слов дорогого учителя Оноре, и перед нами вырастали несметные сокровища далекого, давно затонувшего русского города. Века ревниво хранил он свои богатства и ждал нас.

О, Франция еще не раз удивит мир! Храбрые потомки галлов вырвут у старой скряги-земли запрятанные сокровища. И эти потомки — мы!

Розовая заря стыдливо заглядывала в окна, когда учитель закончил свой доклад. Ночь прошла без сна, но мы не чувствовали усталости. Потрясенный гениальностью учителя, господин Бартельс прослезился от восторга, обнял ученого и сказал:

— Профессор, ваши выкладки и вычисления свидетельствуют о вашей точности и гениальности, — я беру это дело! Вы наш капитан, мы ваши матросы — и наш корабль отправляется в плавание. Я беру на себя обязанности кочегара и вот моя первая лопата угля!

С этими словами господин Бартельс вынул чековую книжку и выписал первый чек.

Дни замелькали не менее быстро, чем чеки, выписываемые господином Бартельсом. В то время, как я бегал по магазинам и складам, закупая все необходимое для экспедиции, профессор занялся выяснением точного местоположения затонувшего города. Со всего Парижа я свез дорогому учителю учебники географии России. Тюками я привозил ему карты этой громадной страны: физические, климатические, бальнеологические, исторические, железнодорожные, и прочие и прочие. Словом, все, какие только можно было достать в Париже.

Наше пристрастие к географии и картам России вскоре стало известно всем букинистам города, и по утрам у нашего дома выстраивались длинные очереди книжных тележек, груженных «русским товаром». Напившись кофе, учитель выходил на крыльцо и букинисты дефилировали перед ним со своими книгами. Мы покупали все. Нам нужны были точные и исчерпывающие сведения, а господин Бартельс просил не стесняться в средствах.

Массу хлопот доставила мне закупка лопат и кирок. Учитель сообщил нам, что в России пользуются преимущественно деревянными лопатами, а железные импортируются из Германии и стоят ужасно дорого. Словом, мы решили, что лопаты и кирки нам необходимо закупить на месте.

Учитель сделал точные подсчеты, (из врожденной скромности я не буду говорить, что в этих подсчетах я принимал деятельное участие), и оказалось, что нам необходимо двенадцать тысяч лопат и такое же количество кирок. Господин Бартельс перечеркнул эти цифры и удвоил их.

Тут начались мои мытарства. Оказалось, что в Париже нет такого количества лопат и кирок. Я метался по городу из конца в конец, из склада в склад, и после четырех дней утомительнейшей работы мне удалось достать только 7934 лопаты и всего 1945 кирок! Создавалось критическое положение. Но светлый ум учителя и на этот раз выручил нас. Он задумался всего лишь на полчаса, сидя, как изваяние Будды, среди груды учебников географии и распластанных на полу и на стенах карт. Я и господин Бартельс старались не дышать, дабы не помешать полету гениальной мысли.

— Чернила и бумагу!

Мы не посмели заглянуть, что пишет великий ученый, но через минуту прочли:

П а р и ж. Улица Кондотьеров 24. П а р и ж.
Для экспедиции на север
срочно нужны лопаты и кирки высокого качества
ЦЕНА БЕЗРАЗЛИЧНА
П а р и ж. Улица Кондотьеров 24. П а р и ж.

— Дитя мое, отнесите это немедленно во все газеты и опубликуйте. Только последите, чтобы не перепутали адрес, я нарочно повторил его дважды. Лопаты и кирки будут.

С этими словами учитель отвернулся и опять погрузился в свои географии и карты. Мы с господином Бартельсом на цыпочках вышли из комнаты.

Гений профессора Оноре Туапрео очевиден. Публикация удалась блестяще. Были и лопаты, и кирки. Они при-

бывали ежедневно в громадных ящиках со всех концов Франции, и уже через три дня у нас было потребное нам количество. Но господин Бартельс не приостановил закупки и купил втрое против того, что указал учитель. Это, конечно, простительно, ведь господин Бартельс не ученый, а коммерсант, к тому же в России лопаты и кирки так ценятся и их импортируют из Германии!

Прошла неделя. Собственно, не прошла, а промчалась. Профессор точно установил местоположение затонувшего города. На лучшей из наших карт оно было обведено красным карандашом, а в центре красовался французский флажок. Я с гордостью могу сказать, что я преодолел все трудности в деле снабжения экспедиции, — все необходимое было запасено в избытке.

Самое последнее и трудное дело — была наша экипировка. Еще с 1812 года французы знают и твердо помнят, что Россия — это север. Морозы, льды, снега. О, французы это помнят очень хорошо! Ведь это в 1812 году они лишились такой громадной и богатой колонии, какой могла бы быть Россия. Мы, республиканцы, умеем отдавать должное великим замыслам наших великих императоров!

Да, так вот, — экипировка. Я было растерялся, но мне помог господин Петров. Хотя господин Петров самый настоящий француз, о чем свидетельствуют его бумаги, но еще в 1917 году он был русским и имел в Москве большой торговый портняжеский дом «Петров и сыновья». Этот милейший господин Петров подтвердил нам наши сведения о русском климате.

— Даже в июне там нельзя показаться на улицу без шубы! Вы моментально отморозите нос.

Я не хотел, чтобы мы отморозили носы, да и господин Петров этого не хотел, и он сшил нам три прекрасных русских «дохà». Это особый род шубы, очень тяжелый, жаркий и неудобный во Франции, но необходимый и приятный в России. Мы были очень признательны господину Петрову, и господин Бартельс с удовольствием выписал ему чек. За небольшое дополнительное вознаграждение этот же гос-

подин Петров снабдил нас туземной обувью, под названием «валенки». С экипировкой было покончено.

Все необходимое для экспедиции, кроме наших «дохà» и «валенки», мы решили пока оставить в Париже, с тем, чтобы выписать это немедленно, как только мы найдем место, отмеченное на карте флажком, и столкнемся с русским правительством.

О, мы знали, что нас ожидают большие трудности. Но разве трудности когда-нибудь останавливали француза!

Мы выпили немало шампанского в тот день, когда господин Бартельс получил заграничные паспорта. И вот, наконец, мы — на Северном вокзале.

Вечер был тих и прозрачен. Всем троим нам немножко взгрустнулось.

От далекой России на нас уже веяло ледяным холодом. Но наши отважные сердца, согреваясь мыслями о сокровищах, были непоколебимы. Право же, я чувствовал себя рыцарем и мой девиз была — обольстительнейшая мадемуазель Клэр, мой щит — знаменитая «дохà», и цель — сокровища, сосчитать которых с точностью не смог даже гений Оноре Туапрео.

Мягко и бесшумно тронулся поезд, увозя нас в наш крестовый поход.

Вечерний Париж уплывал все дальше и дальше. И только огни города долго еще сверкали в наступивших потемках рассыпными самоцветами, да башня Эйфеля посылала прощальные световые лучи.

Мы отошли от окна и, кажется, дорогой учитель смахнул платком набежавшую слезу расставанья.

С прошлым покончено! Впереди нас ждут борьба и победы. И когда мы вернемся в родной наш Париж, вернемся с триумфом, — мы будем, конечно, другими людьми.

Разговор не клеился и мы улеглись спать.

Встающий день застал нас на германской границе.

Приятно было наблюдать, что уроки войны не прошли для бошей даром: они научились вежливости, они стали любезны с победителями.

В течение нескольких минут были покончены все формальности с паспортами и багажом. Чиновники были предупредительно любезны и разговаривали с нами на нашем родном языке. Вот вам еще одна очевидная польза минувшей войны, — немецкие чиновники разговаривают по-французски. Конечно, было бы лучше, если бы вся Германия заговорила по-французски. Но ничего, в следующий раз, мы надеемся, так и будет. Ведь не даром воздвигнута «могила неизвестного солдата» — она вопиет о мести и месть будет!

Конечно, вагоны бошей не так удобны, как наши, но все же мы разместились в купе. Гнуснейшего вида рыжий немец прокричал свое нелепое «Abfahr!» — и вот опять мы неуклонно стремимся к нашей цели.

— Ну, знаете ли, это возмутительно! Я едва совладел с собою!

С этими словами господин Бартельс, багровея и очевидно волнуясь, закурил свою сигару.

— В чем дело?

— Что случилось?

— Да помилуйте, эти немецкие свиньи!..

— Но, по-моему, они были с нами настолько любезны, что не будь они боши, я сказал бы, они французы!

— Уважаемый профессор! Неужели вы не слышали? Любезны? По-французски — да, но как отчаянно ругали они нас по-немецки!

— Вы думаете, что это они нас ругали? — удивился я.

— А то кого же, — Иван Иванович?¹

¹ Непереводимый бретонский народный оборот речи, значит: «ругали безусловно нас». Прим. переводчика.

Мы долго и искренне возмущались наглостью немцев. Нас, победителей, они ругали чуть ли не в глаза! И это после того, как мы идем на такие уступки, после Дауэса и Юнга! О, грубые животные! Право же, мир только приобрел бы, если бы мы стерли их с лица земли.

В разговоре мы не заметили, как поезд подошел к станции.

— Нет, мы их еще проучим, мы им привьем французскую галантность! — воинственно угрожал господин Бартельс, но он замолк на полуслове.

Купе отворилось и в двери протиснулось непомерно большое, широкоплечее и голубоглазое существо.

О боже, несомненно, это немец и к тому же прездоровенный! Он мельком глянул на нас и забросил свой чемодан в сетку. Мы с дорогим учителем невольно съежились. Показалось, что чемодан летит нам на головы.

Но, конечно, это было только инстинктивное движение, а отнюдь не трусость. Через минуту мы оправились и приняли положение, какое подобает французу, черт побери!

Все-таки, он ужасно большой, этот немец. У него громадные кулаки, поросшие рыжим мохом, и крупные белые зубы, как у лошади.

В купе стало тесно, неудобно и душно. Разговор наш прервался сам собою и мы молча, с презрением наблюдали это громадное животное.

Немец, по-видимому, не чувствовал нашего презрения и с любопытством разглядывал нас. Однако, это занятие скоро ему надоело и он принялся за свой чемодан. Перед моими глазами мелькнули багажные наклейки различных немецких городов. Я глянул на наши чемоданы. Медлить было опасно. На наших чемоданах также были наклейки и, понятно, французские. Я искоса глянул на немца. Короткими бочкообразными пальцами он копался в своем чемодане. Я переглянулся с учителем и Бартельсом. Их умоляющие взгляды подтолкнули меня.

Я никогда не хвастаюсь. Французу не пристало хвастать смелостью — и без того мир знает о ней.

Бесшумно и ловко я приподнялся к сетке и в одно мгновение повернул наши чемоданы наклейками к стене. О, это было сделано смело и молниеносно!

Вам, конечно, понятен мой поступок и мотивы, его продиктовавшие. Мы не могли допустить, чтобы какой-то немец, пусть даже у него косая сажень в плечах и громадные кулаки, осмелился читать названия наших, французских городов! О предки, о храбрые галлы, — видите ли вы?

Немец достал из чемодана бутерброд и беззастенчиво чавкал, прихлебывая из фляги. Мы с трудом выдерживали это гнусное зрелище и отвернулись каждый в свой угол. Казалось, прошла вечность, а немец неустанно продолжал чавкать. Наконец он насытился. Опять полетел чемодан в сетку и опять, невольно, мы съежились. Но достоинство, подобающее французам, не замедлило возвратиться на наши лица.

Гром загрохотал в купе и мы с трудом сохранили это достоинство. Оказалось — заговорил немец.

— Я вас спрашиваю, господа, разве это еда? Разве так должен питаться честный немец? А?

При этом громовом «А!» я испугался за целостность оконного стекла, а внутри у меня что-то оборвалось.

— Но после версальского грабежа немцу приходится так питаться. Эти проклятые грабители раздевают нас догола, они вырывают у нас изо рта последний кусок. Эти паршивые французишки!..

— Но позвольте, позвольте!... — не выдержал дорогой учитель.

— Что-о-о? — взревел немец и дорогой учитель поперхнулся. Я и господин Бартельс замахали на него руками, но он замолк и без этого.

— Что-о-о? Да уж не французы ли вы, господа?

Я храбро наблюдал и совершенно отчетливо видел, даже сквозь зажмуренные веки, как поднялся немец во весь свой рост и недвусмысленно сжал кулаки. Господин Бартельс исчез, вернее — исчезла его голова. Он удивительнейшим образом запрятал ее между диваном и спинкой.

— Нет! Нет!.. Совсем даже нет... французы?.. Хи-хи, какие же мы французы... Хи-хи... Мы нет... Мы даже совсем наоборот... — профессор бормотал в растерянности и не находил подходящей национальности. Немец выжидательно молчал и было очевидно, что кулаки его не намерены разжаться.

— Мы наоборот... Мы... Хи-хи...

— О, доннерветтер! Да, наконец, — кто же вы?

— Ну да, дорогой учитель, — кто же мы?

Профессор глянул на меня так, словно я был немец, притом хрупкого сложения и маленького роста.

— Мы... Мы... совершенные испанцы!

Гениален ум профессора и его находчивость неисчерпаема, — еще раз свидетельствую это миру.

— А-а! — осклабился немец. Он широко раскрыл свой громадный рот и мне нестерпимо захотелось плюнуть в его пасть. Но громадным усилием воли я сдержал свое желание. Пожалуй, он еще и не заметит моего плевка. А ведь врага надо унижить так, чтобы он почувствовал это.

— А-а! Испания?

— Да, да, самая что ни на есть испанская Испания! Знаете это: ночь над Севильей спустилась... Д-да! — многозначительно и самоотверженно закончил профессор.

— Нейтралитет? — спросил немец.

— Полный! Полный сорокаградусный нейтралитет! — поспешил подтвердить господин Бартельс.

— А — гут, гут, зер гут! — одобрил немец.

— Будем знакомы! Ганс Штирнер — пуговичная фабрика в Эссене.

Немец протянул профессору широченную ладонь.

— Я... Я —мадридский профессор...

Учитель замаялся, а я с ужасом старался припомнить хоть одну испанскую фамилию.

— Мадридский профессор Онореску Туапареску!

Бедняга учитель — он даже вспотел.

— Ха-ха-ха! Туапареску Онореску! Ха-ха!

Немец хохотал, а мы с тоской ожидали: что же дальше?

— Это совсем румынская фамилия!

В купе застыла тоскливая тишина.

— Румынская! Румынская, а не испанская! — с тревогою шептал я профессору и не удержался, — ущипнул его за неописуемое место. Но гений всегда останется гением и выйдет из любого положения.

— Да, да — румынская. Мои отдаленные предки были выходцы из Румынии. Во времена резни, устроенной Абдул-Пашою, они эмигрировали в Испанию и это — моя родина!

Положение было спасено и учитель совсем овладел собою.

— Ах, какая это родина! Вы себе не можете представить, господин Штирнер, какая это родина! Знаете: тореадор, сме-еле-ее в бо-о-ой!

Немец совсем развеселился и в такт пенью профессора размахивал рукой. Но вот учитель закончил свое вокальное выступление.

— Нейтралитет, — это хорошо, союз с нами — это лучше!

— Да, конечно! — подтвердил учитель.

— Но ничего, господин профессор, мы еще покажем этим жидконогим парикмахерам, этим версальским грабителям — на что способен немец! Мы побеждены, но мы не сдались. В каждой немецкой груди вместе с сердцем живет и бьется жажда реванша.

Совершенно очевидно, немец опять начинал свирепеть. Дорогой учитель пытается усмирить это яростное животное.

— Господин Штирнер, вы совершенно напрасно волнуетесь. Я на досуге делал вычисления и могу вам с точностью сказать, что из-за отсутствия прироста населения в 2724 году скончается последний француз и Франция превратится в пустыню.

— О черрт! В 2724 году? Но мы не намерены ждать так долго и мы не хотим, чтобы Франция вырождалась. Уважаемый Негт мадридский профессор, — мы не допустим этого. Мы еще успеем удушить ее собственными руками!

Немец выглянул в коридор, затем нагнулся к нам и яростно прошептал:

— Моя пуговичная фабрика в двадцать четыре часа может перейти на изготовление снарядных головок! О, эти французы у нас еще попляшут. Рур! Эльзас! Дауэс! Юнг! О! Немец никогда, ничего не забывает. У него свежий мозг и он никогда не болел французской болезнью!

Немец был неутомим. Мы робко прижались в свои углы. Поезд мерно стучал колесами.

Мы должны были доказать, что ничуть не боимся этого громадного варвара, — и мы это доказали. Мы — задремали.

Я проснулся первым и разбудил учителя и господина Бартельса. Поезд подходил к польской границе. Немца уже не было в купе.

— Нну? — спросил я.

— Дда! — в раздумьи ответил учитель.

— Ффу! — с облегчением вздохнул господин Бартельс.

8

Надо сознаться, что Ганс Штирнер обладал прескверным характером и, хотя мы уже давно с ним расстались, и даже благополучно проехали любезное его сердцу отечество, — эту самую Германию, — подавленное настроение не покидало нас.

Мелькавшие в окнах вагона мирные польские пейзажи не радовали, не умиляли. Даже прекомичная сценка, разыгравшаяся на одной из станций между молодцеватым, бравым жандармом и замызганным крестьянином, «хлопом», как говорят по-польски, — не рассмешила нас. А сценка была презабавная: жандарм, затянутый в плотный китель, обливаясь потом от жары и усилий, куда-то волок за шиворот «хлопа». Тот прекомично извивался в цепких жандармских руках и норовил вырваться. Выведенный из терпения жандарм ударил упорного «хлопа» и он нелепо и смешно растянулся у лакированных ботфорт. Жандарм пинал его ногами, но это упрямое животное только мычало,

не желая вставать. В общем — это было в достаточной степени смешное зрелище, но и оно не развеселило нас. Правда, Бартельс улыбнулся, но сейчас же раздавил улыбку своей неизменной сигарой. Ах, да это и понятно. Как может улыбаться француз, если пуговичная фабрика Ганса Штирнера в двадцать четыре часа может перейти на изготовление головок снарядов!

Только дорогой учитель не преминул сказать:

— Польша — высококультурная страна, ибо, — я делал вычисления и с уверенностью говорю, — культурность нации определяется выучкой ее полиции!

Дальше мы ехали молча и не глядя друг на друга. Километры мелькали в томительной тишине. Что-то записывал в записную книжечку профессор, дымил сигарой господин Бартельс, а я с тоскою думал о мадемуазель Клэр. Когда-то я еще ее увижу?

В полдень в купе заглянул проводник и предупредил:

— Следующая остановка — граница!

Учитель сказал примиряющие слова:

— Господа, наши благородные чувства возмущения и угнетенности, вызванные этим грязным животным, этим современным варваром, — нам необходимо на время позабыть, подавить... Господа, — мы подъезжаем к России!

Профессор многозначительно поднял палец и все недосказанное стало нам понятно.

Мы сбросили с себя уныние и нарушили обет молчания. Я достал чемоданы и извлек на свет божий знаменитые «дохà». Хотя нам было чертовски жарко, — мы все же еще раз примерили шубы и с благодарностью подумали о господине Петрове. Лютые морозы нам были не страшны, — мы вступали в Россию в меховом всеоружии! В резерве были еще «валенки».

Полустанок. Разъезд. Поезд въезжает под арку, разукрашенную красными транспарантами и флагами.

Мы в России.

Признаюсь, мне было не то чтобы страшно, а как-то не по себе. Все-таки, как будто вступаешь в совсем иной мир. Я глянул на спутников — их лица также не дышали отва-

гой и решимостью. Впрочем, быть может, происходило это от жары.

Жарко было нестерпимо и мы вынуждены были снять шубы.

Все-таки, это довольно странно. Вот мы уже в России. Вышли из вагона. По перрону ходят самые обыкновенные люди, с самыми заурядными лицами. Никто не дерется и даже не ругается, хотя, быть может, мы не понимаем.

Возглавляемые дорогим учителем, мы проследовали в комнату для досмотра багажа и документов.

Эти дьявольские шубы очень тяжело нести и они возбуждают всеобщее внимание. Все смотрят на нас странными, какими-то изумленными глазами. Мне это перестает нравиться. Уж в порядке ли мой туалет?

Нет, все как будто на своем месте. И у учителя тоже, и у господина Бартельса. Я предчувствую катастрофу, и у меня возникает ничем не объяснимое желание бросить куда-нибудь незаметно свою шубу. Но как ее бросишь незаметно, ежели это целая доха! А тут еще это несносное солнце. Жарища такая, что нечем дышать. Нечего сказать, — хороши хваленые русские морозы!

Так и есть, — предчувствия меня не обманули. Все было очень хорошо, пока дело не дошло до проклятых шуб. Паспорта в порядке. Визы на месте. Контрабанды не обнаружено. Словом, — с нас потребовали колоссальную пошлину за наши «дохà».

— Но ведь это же нам необходимо! Морозы...

— Помилуйте, какие морозы летом!

И действительно: какие морозы летом? От зноя мы истекали потом. Это только у господина Петрова, проживающего ныне в Париже, — в июле в России воют метели и люди мерзнут, как птицы на лету!

О, любезнейший господин Петров, вы рождены под счастливой звездой — потому что вас нет здесь, потому что мы лишены возможности надеть на вас все три «дохà» и все три пары «валенки», чтобы вы, бедняга, не замерзли в снежной России в июльскую метель!

О, любезнейший господин Петров! Теперь, конечно, мы знаем: несмотря на то, что вы французский подданный, — вы по-прежнему жулик! Разница только в том, что до семнадцатого года вы были русский жулик, а теперь французский. Уважаемый господин Бартельс говорит вполне резонно, что приобрела на этом деле Россия, а потеряла Франция.

Трижды прокляв господина Петрова, его «дохà» и «валенки», мы отказались платить за них пошлину и оставили их посмеивающимся таможенным чиновникам.

Всей этой историей больше всего был смущен дорогой учитель. Он молчал, конфузился и краснел.

Это действительно странно. Ведь букинисты Парижа свезли нам сотни, тысячи географий России, ведь дорогой учитель имел в своем распоряжении 43087 карт России и среди них 1241 климатическую, и вдруг профессор допустил эти шубы...

Ну да ладно, — слава богу, мы от них отделались. Мы вышли на перрон и теперь уже никто не смотрел на нас удивленными глазами — вероятно, причина удивления осталась в таможене.

Мы направились искать фаэтон.

— Извозчика прикажете?

— Ну да, конечно, извозчика!

— Далеко ли ехать?

— Мм... Далеко ли? Мы, собственно, не знаем, далеко ли это, — нам надо в Москву.

Это странно, но вот уже вторично на нас смотрят дикими глазами, — положительно, в этой России ничего не поймешь. У меня опять засосало под ложечкой и мои дурные предчувствия вновь оправдались.

Ах, боже, — я даже стесняюсь говорить об этом, но дорогой учитель опять был сконфужен и молчалив. Это он уверял нас, что в результате гражданской войны и интервенции в России давно разрушены все железные дороги. Дорогой учитель уверял нас, что нам придется передвигаться в так называемой «кибитке» на «облучке». Я помню, что профессор еще цитировал нам какой-то ученый труд:

«Летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке...»

Никаких кибиток и облучков не оказалось, и не нашлось ни одного извозчика, который согласился бы отвезти нас в Москву.

Я конфузливо отвернулся от профессора, господин Бартельс что-то нелестное сказал по адресу науки вообще и французской в частности, — и мы кротко направились в билетную кассу. Билеты нам выдали моментально, но сомнение еще жило в наших сердцах. Мы еще помнили о гражданской войне и интервенции. Учитель еще гордо нес голову и даже ехидно посмеивался, иронически разглядывая билеты.

Но... представьте себе, — пришел поезд. Самый настоящий поезд. Даже больше — вагон оказался много удобнее французских и польских.

Мелькнула еще одна, последняя надежда. — Вероятно, русские дороги в американской концессии?

Увы, и эта надежда рухнула. Дороги были самые настоящие русские, без единого концессионного винтика.

Дорогой учитель утерял свой гордый вид, а господин Бартельс ехидно посмеивался.

Поезд тронулся. С каждым оборотом колеса мы приближались к ожидавшим нас сокровищам.

Но пока, до сокровищ, я хочу сказать:

— Дорогие сограждане, дорогие потомки галлов, если вы собираетесь ехать в Россию, — гоните в шею всяческих господ Петровых, не покупайте шуб и валенок, не думайте о кибитках и облучках, не нанимайте извозчиков от пограничной станции, а лучше берите билет прямого сообщения до самой Москвы. И тогда на вас не будут смотреть удивленными и дикими глазами.

— Не забывайте, ведь это Азия!

В наш первый московский день на безоблачном небе ласково улыбалось солнце, слепили глаза золотые купола церквей, и каждый из нас уже ощущал в своих карманах несметные сокровища града Китежа.

Все было забыто и наш дорогой учитель гордо нес седую гриву своих волос, а я и господин Бартельс были сугубо ласковы с нашим капитаном, с нашим гениальным предводителем...

Господин Бартельс предоставил в наше распоряжение три лучших комнаты в «Европейской гостинице», господин Бартельс почтительнейше попросил дорогого учителя разработать дальнейший план действий экспедиции. Затем господин Бартельс покинул нас, чтобы заняться личными делами.

Мы остались наедине с учителем.

Мы подошли к раскрытым окнам. Под нами шумел город. Город спешил, город извивался трамваями, город блистал куполами, город дышал каменной грудью мостовых и площадей.

— Дитя мое! — учитель широким жестом обвел открывавшийся вид.

— Дитя мое, вы видите этот азиатский город, сверкающий солнцем и золотом, кипящий трудовой торопливой жизнью? Много веков тому назад, на север отсюда, на север и на запад, стоял еще более богатый, еще более азиатски-богатый город...

Неизъяснимое волнение охватило меня и я с благоговением слушал дорогого учителя.

— Стоял город, дитя мое...

Учитель на минуту задумался, и лирическая тишина воцарилась и комнате.

— ... Да, мой юный друг, — в природе существуют катаклизмы... Колоссальные подпочвенные сдвиги — и в течение нескольких минут живой и шумный город исчезает с лица земли...

Указующий перст Оноре Туапрео застыл в голубом про-
резе окна, из-под косматых бровей блистали глаза, полные
решимости. Казалось, они видят этот далекий, погибший
город.

— Исчезает со всеми своими сокровищами, исчезает с
грозным своим владыкой, исчезает с красавицей Февро-
нией. И там, где секунду тому назад был город, — бурными
волнами плещет в берега громадное озеро. Тропы к нему
затягивает болото, берега его становятся непроходимыми
топями... Проходят неслышными стопами века — мгнове-
ния в истории мироздания. Люди, занятые своей извечной
борьбой, своим враждованьем и войнами — забыли о гра-
де Китеже. Но время знало свои пути... Но сохранились за-
писи... Но жил на земле святой отец Мордиус Баррелиус...
И пришли на землю — мы!

В эту минуту мне показалось, что учитель вырос и го-
лова его засияла в окружении светящегося нимба.

— Дитя мое, пришли на землю мы — чтобы взять!

Учитель вздохнул и отошел от окна.

— План работ экспедиции? Да, конечно, нужен план.
Но я сегодня настроен так торжественно и празднично, что,
право же, мне не хочется работать. И я думаю, мой юный
друг, что мы с вами выйдем на улицу и окунемся в жизнь
этого азиатского города.

Мы вышли и окунулись.

Поздно ночью, с большим трудом, при помощи швей-
цара мне удалось водворить дорогого учителя сперва в но-
мер, затем в постель. Впрочем, быть может, швейцар вод-
ворял и учителя, и меня. Мы оба до глубины наших вос-
торженных душ были растроганы и потрясены туземным,
азиатским коньяком.

Наш второй московский день — не был так безоблачен,
как первый.

Небо хмурилось легкими облачками. Солнце выгляды-
вало из-за них воровато и подмигивало нам, как подвы-
пившая шансонетка.

Господин Бартельс приходил и снова исчезал. Его вы-
сокое чело было подернуто морщинами неведомых нам

серьезных дум. Он был молчалив и хмур. Но мы с учителем не придавали этому обстоятельству особого значения.

И опять, оставшись одни, подошли мы к раскрытым окнам.

Дорогой учитель повторил свой прекрасный рассказ о трагической гибели града Китежа.

Нам внезапно взгрустнулось и мы выяснили, что и сегодня — у нас нерабочее настроение. Да и в самом-то деле — ведь особенно торопиться нечего. Впереди ждет нас упорная и тяжелая работа. А теперь...

А теперь — надо же хоть немного познакомиться с этим чудесным азиатским городом, с этой Москвой.

Мы познакомились с городом до поздней ночи. Это совершенно необъяснимо и непонятно, но случилось так, что утром мы проснулись в незнакомом месте.

Две премилых девицы обращались с нами более чем фамильярно. Мы смущались, я даже, кажется, краснел, но, по-видимому, ночью мы дали право этим милым созданиям так обращаться с нами. Все это было очень трудно установить, ибо голова трещала отчаянно.

Ах, эти милые девицы, — они были так скромны в своих требованиях, вернее, в своей просьбе подарить им что-нибудь на память! Ни я, ни дорогой учитель не смогли им отказать, тем более, что при этом присутствовали их братья, — этакие здоровенные, широкоплечие азиаты.

Мы с учителем подарили крошкам на память все сохранимое наших бумажников. Мы нежно простились с девицами и с их утрюмыми братьями, и налегке поспешили на улицу.

Это была совершенно незнакомая нам улица.

День был пасмурен. Низкие, тяжелые тучи цеплялись за крыши домов. Раскаленный воздух был тяжел. Пахло грозой. К полудню, усталые и измученные, — мы добрались до «Европейской гостиницы». Удивленный швейцар подчеркнуто вежливо открыл дверцу лифта. Мы вошли в нашу комнату.

Как каменное изваяние рока, скрестивши на животе руки, сидел в кресле господин Бартельс.

За окнами окончательно потемнело. Тучи свинцовым грузом упали на крыши. Грянул гром. Разразилась гроза.

В дверь постучали.

— Войдите! — грозно рявкнул господин Бартельс.

В комнату вдвинулся юркий человечек.

— Господин иностранец, ваши кирки и лопаты...

— Вон! Пошел вон!

С грохотом и ревом поднялось с кресла каменное изваяние господина Бартельса.

— Так я же, господин иностранец, насчет кирок...

Руки Бартельса извивались как змеи в поисках тяжелого предмета. Чугунная пепельница просвистела в воздухе. Человечек юркнул за дверь и скрылся. Пепельница, с грохотом ударившись о стену, упала на пол. Господин Бартельс был страшен в гневе.

— Что прикажете? — номерной выжидательно остановился на пороге.

Господин Бартельс умел владеть собой.

— Да, будьте любезны, подымите эту пепельницу. Спасибо. Больше ничего.

Номерной вышел.

За окном грохотал гром и извивались молнии.

Бартельс неуклонно наступал на нас, а мы пятились к стене.

— Так как вы говорите, распронауважаемый профессор? В России не производят кирок и лопат? Их импортируют? Они расцениваются на вес золота? Да знаете ли вы, что ваши лопаты и кирки никому не нужны?

Гром грохотал угрожающе.

Дальше пятиться было некуда. Я и дорогой учитель, под натиском Бартельса, опустились в кресла.

— Старый идиот! Старый осел!

— Но позвольте! — учитель был сдержан и корректен.

— Да, позвольте! — робко поддержал я.

— Не позволю! Слышите, — не позволю! Вон! К черту! Вон! Никаких концессий, никаких градов Китежей, — это будут те же кирки и лопаты!

Господин Бартельс саженными шагами бегал по комнате и рвал на себе волосы.

— Ах я осел, ах, баран, — довериться этому выжившему из ума авантюристу! Скупить со всей Франции лопаты, платить за них втридорога, — все для того, чтобы здесь меня подняли на смех...

Еще и еще гремел гром и сверкали молнии. Косые потоки дождя водопадами низвергались в провалы улиц.

Господин Бартельс успокаивался, — но лучше бы он кричал.

— Вот что, любезнейшие, — соберите-ка ваши вещи!

Ах, пример христианской кротости, пример евангельской покорности проявил дорогой учитель. Он поспешно уложил в чемодан свое имущество. Я последовал его примеру.

— И теперь — вон! Чтобы я вас больше не видел! — грохотал господин Бартельс.

Я и дорогой учитель подошли к дверям. Голос профессора дрожал от гнева и негодования, но он, по-видимому, сдерживал себя и говорил с большим достоинством.

— Вы, мосье Бартельс, грубое животное! Вы совершенно не способны сообразить, с какой молниеносной быстротой меняется конъюнктура русского рынка. Вы слишком тупоголовы для этого! А мы в вас не нуждаемся. В недельный срок мы разработаем точный план экспедиции и обратимся с ним к местному правительству. Ваша помощь — нам не нужна. Прощайте!

— Идем, дитя мое!

— Вон! Вон! — грохотал господин Бартельс.

Мы вышли из «Европейской». Я с сожалением оглядел ее фасад, — все-таки это очень хорошая и удобная гостиница.

Потоки дождя омыли наши разгоряченные головы. Порывы ветра разогнали обрывки мечущихся туч. Гроза окончилась.

К вечеру, предварительно распродав часть своего имущества, мы устроились в грязненьком номере на Бутырской улице, в меблированных комнатах мадам Заваровой.

— Дитя мое, стоицизм всегда бывает награжден. Нам не следует огорчаться, ибо сокровища нас ждут! Я предлагаю послать за русской горькой и выпить за дальнейший успех предприятия!

Мы послали. Мы выпили.

Ночь, несмотря на усердные хлопоты многочисленных клопов мадам Заваровой — принесла нам покой и забвение.

Ах, эти печальные семь дней развала концессионного предприятия по изысканию сокровищ града Китежа! Они оставят в моей жизни горький след разочарования.

Мы сидели в ободранном номере и мелкий дождь, моросивший за окнами, отнюдь не придавал нам бодрости.

Колченогий стол был завален планами и чертежами, и надгробным памятником возвышался над ними потухший самовар.

Я не знаю, о чем думал дорогой учитель, — но, судя по выражению лица, думы его были печальны.

Семь шагов в длину и четыре в ширину, — неустанно измерял я нашу отвратительную конуру.

Первый, томительный день окончился. Мы потушили свет и, истерзанные горькими думами, отдались на растерзание голодным клопам.

Утром улыбалось над городом солнце и весело смеялись звонки переполненных трамваев. Нам казалось, что смеются они над нами.

Это смешно и трагично, — но мы, обладатели несметных сокровищ, понесли на Сухаревский рынок то, что можно было понести. Ибо мы были голодны и у нас не было денег.

От Бутырской улицы до Сухаревской площади несли мы свое горе и свои вещи. На Сухаревке юркий татарин купил наши вещи, но не забрал нашего горя. Оно следовало за нами неотступно в третьеразрядную харчевню, в которой мы скромно пообедали.

Ночь пришла, не принося облегчения. В разных углах лежали мы с дорогим учителем. Он на скрипучей кровати,

я на бугристом диване. Нам не спалось и мы тяжело вздыхали.

И настало утро третьего дня. Еще более печальное и безотрадное.

— Дитя мое, мы переживаем кризис! — сказал дорогой учитель.

Я молча с ним согласился.

— Видите ли, мой юный друг, я боюсь, что мы не сможем обратиться с предложением к русскому правительству.

— Я тоже боюсь этого, дорогой учитель. История с кирками и лопатами...

— Ах, да при чем тут кирки и лопаты! История с кирками и лопатами — скверная история!

— Увы, учитель, — мы в этом убедились на горьком опыте!

— Да! Но я не о том. Дэвид Бартельс просто глуп, и я не сомневаюсь, что он поймет свою ошибку и раскается.

— Увы, дорогой учитель, я в этом очень сильно сомневаюсь!

— Ах, юноша, сомнение дурно отражается на пищеварении и только вера способствует ему!

— Да, но...

— Без всяких «но»! Для меня является вопросом только то, как долго будет упорствовать Дэвид Бартельс и хватит ли у нас материальных ресурсов переждать его упорство.

— Не будем говорить о ресурсах, дорогой учитель!

— Да, не будем. Так вот, я говорю: русскому правительству мы не можем открыть наши карты, потому что оно, без сомнения, узурпирует наши права на эти сокровища и мы останемся при пиковом интересе.

— Дорогой учитель, мне кажется, что мы уже остались при нем.

— Ах, Жюль, вы становитесь несносны!

— Я молчу, дорогой учитель!

— Это самое лучшее, что вы можете сделать.

Боже, боже, — мне совестно вспоминать, но сколько горьких и обидных слов в эти тяжелые дни наговорил я

дорогому учителю.

В печальных и бесплодных разговорах прошел третий день. Вечером к нам явилась сама мадам Заварова и потребовала деньги за свой «лучший номер». Тяжко вздохнув, мы расплатились с почтенной матроной и, когда она величественно покинула нас, — подсчитали остатки своих капиталов.

Увы, — их было более, чем мало. В этот вечер даже самовар, эта национальная русская машина, — не отогрел нашего одиночества. Он был нам не по средствам.

Наступившее утро мы посвятили упорной и деятельной работе.

Профессор энергично вгрызался в свои планы и чертежи, а я прилежно ему помогал. Мы установили: в Рязанской губернии, на дне безымянного озера, что в семидесяти верстах от Рязани, — лежали наши сокровища.

Подумать только, — тысячной их доли хватило бы на то, чтобы для целого города устроить грандиозный пир, — а у нас, обладателей всего сокровища, не было на обед даже в третьеразрядной харчевне. О, судьба, судьба, шутки твои ужасны и юмор гнусен!

Под быстрым пером дорогого учителя росли и множились цифры. Я едва успевал складывать, умножать и делить.

Озеро окружено непроходимыми топями. Необходимо сперва осушить болота, или, по крайней мере, сделать их проезжими, доступными человеческой ноге. От озера прорыть каналы. По каналам вывести воду. Обнажить дно озера. Затем снять значительный, веками накопленный слой ила. И тогда... Золотыми маковками, драгоценными камнями, неисчислимыми слитками золота засверкает наше сокровище. О, оно засверкает, — порукой тому гений Оноре Туапрео и настойчивость Жюлья Мэнна!

Но пока, — у меня зарябило в глазах от итоговой цифры, обозначавшей потребную для производства работ сумму денег.

В сумерках вышли мы на улицу и в ближайшей лавке купили колбасных обрезков и хлеба, — наши капиталы были исчерпаны.

Я никогда еще не едал такого вкусного блюда, как эти обрезки, и их единственным недостатком было то, что их было мало!

Еще ночь, еще один гнетущий рассвет и раздражающие звонки трамваев. До полудня мы томились с дорогим учителем, а в полдень мы встали и вышли.

О, восхитительный русский купец, о, изумительный купец Сухарева рынка — тебе наше удивление и восторг!

В течение двадцати минут мы расстались с нашими костюмами и надели не особенно свежие и чистые, но безусловно живописные лохмотья. Благородные сухаревские купцы трогательно пожали нам руки и мы, довольные друг другом, расстались.

О, как мы ели в этот день! Мы обедали трижды и в третий раз с не меньшим аппетитом, чем в первый. Положительно — русская кухня очаровательна!

В благодушном состоянии мы возвратились под кров мадам Заваровой. Ощущая приятную тяжесть в желудке, я прилег на диван и задремал. Окрыленный какой-то новой идеей, дорогой учитель уселся за вычисления.

— Дитя мое, проснитесь!

Я вскочил. В комнату вошли сумерки.

— Нам необходимо обсудить наше положение и принять решение.

— Да, учитель, — я весь внимание.

— Я боюсь, мой юный друг, но, кажется, упрямство и тупость господина Бартельса заставят нас на время, вы слышите, я подчеркиваю — на время отложить нашу экспедицию и возвратиться в Париж.

— Возвратиться, учитель, — но как же возвратиться?

— Не перебивайте меня. Увы, у нас нет денег, хотя мы обладатели сокровища, равного которому нет в мире. Это парадокс, но это так! Пока вы дремали — я делал вычисления, я высчитал...

Тут профессор замолк и посмотрел на меня долгим и ласковым взглядом.

— Трудности победы не останавливают храбрых! Не так ли, мой юный друг?

— Так, дорогой учитель, но что вы высчитали и почему нам необходимо возвращаться, если сокровища находятся в Рязанской губернии?

— Нам необходимо вернуться в Париж и найти там нового капиталиста для осуществления экспедиции. В России мы этого не можем сделать, ибо эта разновидность человеческих особей не водится здесь уже с 1917 года. Так вот, — нам необходимо возвратиться в Париж. Остаток наших средств...

— Да, дорогой учитель, — он равен одному рублю и сорока семи копейкам.

— Нам придется идти пешком. Я высчитал, что, передвигаясь средним шагом, прибавив все остановки и привалы, — мы будем в Париже через три месяца и четырнадцать дней...

Томительная пауза.

— Питаться нам придется ягодами, грибами, картошкой с чужих огородов, а может быть и... милостыней, дитя мое. Но это не унижительно, — цель оправдывает средства!

— О учитель! О дорогой, незабвенный учитель!

Больше я ничего не мог сказать, в умилении перед этим великим человеком, так стойчески переносящим свои, наши неудачу и горе.

Мы решили наутро выступить в поход. Наши карты нам оченьгодились и мы немедленно наметили маршрут.

Мы заперли дверь, чтобы не пришла мадам Заварова и не потребовала платы за свой лучший номер, — нам пришлось бы отдать ей последние деньги и, кроме того, выдержать ее энергичный натиск.

Только утром, когда небо окончательно погелубело и сонно прозвучал первый трамвайный звонок — удалось нам уснуть.

Я проснулся словно ужаленный и тотчас схватился за карман, как будто мог этим уберечь наши капиталы, наш единственный рубль и 47 копеек.

В дверь стучали кулаками. Ее дергали так, что звенели стекла. Гнуснейшим голосом мадам Заварова повторяла:

— Отворите, граждане! Граждане, отворите!

Я сделал было движение к двери, но в этот момент глянул на учителя и застыл.

Профессор делал таинственные и непонятные знаки рукой. Он величественно возвышался на постели и вид его был грозен.

— Трах-тах-тах та-ра-рах! — барабанила в дверь мадам Заварова, и с каждым «Отворите!» голос ее становился громче и гнуснее.

Легкой тенью прыгнул я с дивана, крепко зажав в кулаке наши капиталы и подбежал к дорожному учителю.

— Да что вы там, умерли, что ли? Отоприте!

На несколько секунд в коридоре наступила тишина. Очевидно, мадам Заварова пыталась заглянуть в замочную скважину. Мы воспользовались этой передышкой и у нас с дорогим учителем состоялось краткое, но плодотворное сощещание.

В мгновение ока я засунул наш единственный рубль в носок ботинка, и с молниеносной быстротой зашнуровал его. Профессор повернулся к стене и притворился спящим. Мадам Заварова вновь загрохотала в дверь и взволнованным голосом совещалась с кем-то. Я поспешно подошел к столу и демонстративно разложил на нем 47 копеек. — «Мы ничего не скрываем, вот вам наши деньги, — пейте, мадам Заварова, нашу кровь, ешьте наше тело!»

— Нет! Там, вероятно, произошло что-то ужасное! — истерически взвизгнула за дверью мадам.

Я оглянулся на дорогого учителя, — он продолжал «спать». Не спеша подошел я к дверям и повернул ключ.

— Ну, наконец-то! — облегченно вздохнула мадам Заварова. — Ну, и спите же вы!

— Пожалуйте! Вот это и есть те господа, которых вы ищете!

Если бы грянул гром, если бы разверзлись небесные хляби, если бы, грудой наваленные на полу, внезапно появились в нашей комнате все сокровища града Китежа, — я был бы менее поражен.

Предо мной стоял Бартельс. Как перед выходцем с того света, я попятился. Спокойно вошел за мною господин

Бартельс и, любопытствуя, просеменила за ним мадам Заварова.

Господин Бартельс снял шляпу и любезно поклонился мадам Заваровой.

Не спеша он вынул бумажник и некая ассигнация перекочевала в растопыренную ладонь мадам.

— Благодарю вас, сударыня, благодарю!

Господин Бартельс еще раз поклонился.

Мадам Заварова вспыхнула от удовольствия и глаза ее подернулись маслицем.

— Что вы, что вы, господин, — я всегда с удовольствием! Да вы присядьте, что же вы стоите...

Господин Бартельс поклонился в третий раз, мадам Заварова в ответ присела в реверансе.

— Мне кажется, мадам, что вас звали в коридоре.

— Звали? Да нет, — это вам показалось.

— Простите, но вас безусловно звали, мадам!

— Звали? Ах, да, — верно, верно, — звали. Ну, я пойду, — вы уж тут сами, сами...

С тоскою мадам Заварова глянула на бумажник господина Бартельса и выскользнула в коридор, тихонько притворив за собой дверь.

Господин Бартельс сделал два шага по направлению ко мне, затем быстро повернулся и с силой раскрыл дверь.

— А-а! — вскрикнула мадам Заварова и схватилась за лоб.

— О простите, простите, мадам! Мне показалось, что меня кто-то окликнул.

Господин Бартельс поклонился мадам Заваровой в последний раз, плотно прикрыл дверь и повернул ключ.

— Вон! Сию же минуту вон! — прозвучал грозный голос.

Мы вздрогнули и обернулись. На кровати стоял дорогой учитель. Одной рукой он придерживал падающие кальсоны, другой указывал на дверь и, грозно потрясая седыми волосами, повторял:

— Вон! Вон! Вон!

— Учитель! Дорогой учитель, опомнитесь, что вы делаете?

Но профессор не слушал меня и повторял свое.

— Успокойтесь, капитан! Корабль опять отправляется в плавание и кочегар пришел подбросить угля в затухающие топки!

Дэвид Бартельс выразительно похлопал бумажником и простер свои объятия грозному учителю.

О, эта трогательная минута примиренья, — мне ее не забыть никогда! Дорогой учитель не выдержал, его голос задрожал, руки опустились, и с рыданиями он упал в объятия господина Бартельса.

Я тихонько присел в кресло и, кажется, тоже всплакнул. Так мы поплакали. Затем дорогой учитель конфузливо вытер покрасневшие глаза, громоподобно высморкался и поспешно влез в свои сухаревские штаны.

Мы уселись вокруг колченогого стола. Помолчали.

— Ну вот, — нарушил тишину господин Бартельс, — лирическая часть программы окончена, перейдем к деловой. Как видите — я пришел. Я слишком француз, чтобы не верить в гений французского ученого, хотя я позволяю себе сомневаться после этой истории с лопатами.

Профессор закашлялся и густо покраснел. Я негодуяще замахал руками на господина Бартельса.

Пауза.

— Затем, я слишком патриот и не могу допустить, чтобы то, что принадлежит французам по праву, из-за нелепой случайности, из-за моей невыдержанности досталось русским, к тому же все они — большевики. Я решил продолжать экспедицию, я вновь вхожу в концессию, но ставлю условия.

— Ах, вот как? — начал было профессор, но я посмотрел на него умоляюще и он кротко замолчал.

— Изложите ваши условия, Дэвид Бартельс.

— Извольте. Я требую, чтобы до начала капитальных работ по добыче сокровищ была организована предварительная разведка. Ну, мы поедем туда, скажем, с водолазом. Доберемся до этого озера. И пусть водолаз тщательно обследует дно. Я полагаю, что если ваши вычисления безошибочны, дорогой профессор, — я в них верю, но позво-

ляю себе сомневаться, — так вот, если они безошибочны — водолаз неминуемо обнаружит на дне озера какие-нибудь следы, какой-нибудь намек на то, что именно здесь погребен град Китеж. Тогда мы немедленно приступаем к капитальным работам. Если же водолаз ничего не обнаружит — я отказываюсь от участия в концессии и не вкладываю в это дело больше ни гроша.

— Да позвольте, господин Бартельс, ведь с момента гибели Китежа прошли века и почвенные наслоения настолько велики...

— Простите, профессор, но я вас перебиваю, — я ничего не могу позволить! Я не ученый, я всего лишь коммерсант. На затраченный капитал я намерен получить свои проценты, и эти проценты должны быть верными, а до прошедших веков и почвенных наслоений мне нет никакого дела! Таковы мои условия и изменять их я не намерен. Угодно вам их принять?

Я видел, как наливается гневом и возмущением лицо дорогого учителя. В эту минуту я с содроганием сердца вспомнил обольстительнейшую мадемуазель Клэр де Спер, — мне показалось, что я теряю ее навеки. Сердце мое болезненно сжалось, в мозгу зародилось отчаянье. Еще минута — и все бы погибло. Было очевидно, что дорогой учитель не хочет принять условий господина Бартельса. Спасительная мысль сверкнула молнией. Я наклонился к уху профессора и прошептал:

— Дорогой учитель, наш единственный рубль ужасно жмет мне ногу. Я думаю, что теперь я уже могу его вынуть?

Положение было спасено. Учитель испуганно заморгал, вздохнул, протянул руку господину Бартельсу и сказал:

— Я принимаю ваши условия]

Едва сдерживая охвативший меня восторг, я поспешно расшнуровал ботинок, вынул злополучный рубль и небрежно выбросил его за окно, — теперь он нам был не нужен.

У подъезда нас ждало такси, — гордость московского коммунального хозяйства.

— Ну-с, господа, я еду в концессионный комитет и надеюсь, что смогу привезти оттуда разрешение на разведывательные работы. Вас, профессор, я прошу, на всякий случай, разработать ученый доклад о залежах торфа в Рязанской губернии. Быть может, наш доклад понадобится в концессионном комитете. А вы, Жю, поезжайте к этому водолазу и столкнитесь с ним окончательно, — чтобы в любой момент он был в нашем распоряжении. Итак, господа, пожелайте мне успеха.

Дэвид Бартельс взял за шляпу, но на минутку приостановился и, помолчав, не без ехидства добавил:

— Я полагаю, господа, что вы уже в достаточной степени успели ознакомиться с Москвой и, возвратившись, я застану вас дома?

Мы переглянулись с учителем, вспомнили Бутырский переулок, тяжело вздохнули и промолчали. Дэвид Бартельс вышел.

Едва захлопнулась за ним дверь, я с тревогой бросился к Оноре.

— Учитель! Вы слышали? Он настаивает на этом дурацком водолазе, он не намерен отказаться от своих нелепых условий, от этой идиотской разведывательной экспедиции. Даже в концессионном комитете, вы подумайте, учитель, даже там он просит разрешения только на разведывательную экспедицию!

— Да что же вы молчите, учитель? Вы слышите, — только на разведывательную.

Я в отчаянии заломил руки и, не в состоянии сидеть, забегал из угла в угол, как пойманный таракан в коробке. Оноре загадочно молчал.

— Разведывательную, — ха! Да что же можно там разведать? Что может обнаружить там этот несчастный водолаз? Века! Почвенные наслоения! Ил!.. Но почему вы молчите и смотрите на меня с усмешкой? Ведь это катастрофа, ведь это гибель нашего предприятия! Бартельс после лопат и

кирок упрям как осел и, хотя он говорит «я сомневаюсь», но, учитель, он не верит, — вы слышите, не верит! И вот мы поедem туда, мы начнем разыгрывать этот нелепый фарс с водолазом. Он опустится на дно и, конечно, ничего там не найдет, не может найти!

В изнеможении, я повалился в кресло.

— Вы кончили, дитя?

— Кончил ли я? Что кончать-то, когда все рушится и гибнет! Я только одному удивляюсь, — вашему необъяснимому спокойствию.

— Оно продиктовано мудростью. Но, дитя мое, нам не следует терять времени. Немедленно поезжайте за водолазом и возвращайтесь с ним сюда.

— Учитель, ведь водолаз — это наша гибель. Ведь в тот момент, когда он поднимется со дна озера — наша концессия полетит вверх тормашками, но...

— Остановитесь, остановитесь, мой юный друг! Я две ночи подряд не спал. Вы видели, что я не отходил от своего рабочего стола и вот...

Профессор порывлся в столе.

— И вот вам этот чертеж.

— Чертеж? Что за чертеж?

— Слушайте внимательно!..

11

— Алло! Алло! Это вы, господин Туапрео? Да, да, — это я, Бартельс. Господин профессор, я говорю из концессионного комитета. Немедленно выезжайте сюда. Да, сюда, в комитет. На повестке ваш доклад. Что? Ну да, конечно, о торфе. Жду вас через 15 минут.

— Выезжаю! — ответил Туапрео и повесил трубку.

На минуту он задумался. Но это была только коротенькая минутка, — так коршун медлит перед тем, как камнем упасть на жертву.

Собственно, доклада у профессора никакого не было. Все дни после примирения с Бартельсом были заняты решением мучительной проблемы — поставленного условия. Гениальная мысль поборола все преграды, — проблема была разрешена блистательно. Теперь вот этот доклад.

Но может ли французский ученый, мировой ученый Оноре Туапрео остановиться перед каким-то докладом, хотя бы и о залежах торфа в Рязанской губернии, хотя бы и в концессионном комитете? Конечно — нет! Вперед — без страха и сомненья!

Профессор собрал со стола кипу своих чертежей и выкладок, никакого отношения к торфу не имеющих, и сунул их в портфель.

Через четверть часа Оноре Туапрео входил в зал заседания концессионного комитета.

— Оноре Туапрео, французский ученый, знаменитый геолог! — рекомендовал профессора Дэвид Бартельс.

— Очень, очень приятно!

— Как же, как же — слышал, неоднократно слышал!

Расплываясь в улыбках, трясли руку Оноре приглашенные в качестве экспертов профессора, щеголяя знанием французского языка.

Все они впервые слышали имя Оноре Туапрео, но каждый боялся показать себя невеждой перед французским ученым и своими коллегами.

— Вдвойне приятно, ибо всегда с наслаждением читал ваши труды! — отрекомендовался последний профессор и взглядом победителя окинул собрание.

«Ох уж этот Сусветов, — он всегда норовит вперед, всегда!» — с завистью подумали коллеги.

Ответственные работники комитета поклонились, назвав свои фамилии, и восторги профессуры утихли.

Оноре Туапрео начал свой доклад.

— Прежде всего, о серьезности и солидности наших намерений свидетельствует то, что я попрошу у вас, господа, разрешения говорить по-русски!

— Мы не только детально изучили интересующую нас местность, но и сочли нужным, для пользы дела, в совер-

шенстве изучить русский язык. Итак — о наших предложениях. По имеющимся у нас, строго проверенным данным, в Рязанской губернии, в 70 километрах на северо-восток от Рязани, в районе озера Гнилого имеются богатейшие залежи торфа высокого качества...

Оноре Туапрео, не останавливаясь и не отдыхая, говорил в течение двух часов. Он приводил цифры, тут же умножал их, делил и снова умножал и, окончательно запутав слушателей бесконечным количеством канканирующих цифр, — блестяще закончил свой доклад:

— Из этого совершенно очевидно следует, что наше предложение базируется на строго проработанных научных данных, а концессия, которую, я не сомневаюсь, вы нам предоставите, послужит к обогащению, в первую очередь, прилегающего края, то есть Рязанской губернии, а нам, концессионерам, даст богатый научный материал, который, собственно, в основном нас и интересует!

Дэвид Бартельс экспансивно захлопал в ладоши. Из вежливости его поддержали обалдевшие профессора и собрание объявлено было закрытым.

Концессионеры удалились с тем, чтобы завтра узнать о результатах.

.

— Это производит странное впечатление! Чего могут искать и что могут разрабатывать или добывать эти французы в районе Гнилого озера?

— Да, это странно! Что можете сказать по этому поводу вы, уважаемые товарищи?

— Собственно, сказать что-либо определенное — трудно...

— Торф? Может, конечно, быть торф, но может и не быть...

— Во всяком случае, я полагаю, если там и есть торф, то не в таком количестве, чтобы концессия на его разработку могла оказаться выгодной!

— Да ведь дело и не в торфе. Ведь вот основной пункт их предложения:

«Заранее соглашаясь на все могущие быть выставленными Концесскомом условия, со своей стороны ставим единственное, безоговорочное. Все содержимое недр, ныне покрытых водами озера Гнилого, в чем бы оно ни выразилось...

— Обратите внимание, — в чем бы оно ни выразилось, —

— ...поступает без каких-либо ограничений и изъятий в полную нашу собственность и распоряжение. Концесском гарантирует точное соблюдение этого пункта договора, а также гарантирует беспрепятственную возможность вывоза всего имущества, которое будет принадлежать нам по смыслу этого пункта, — опять-таки, в чем бы оно ни выразилось...

— Мм-да!

— Тут возможны два варианта, — либо это авантюристы, либо... дураки...

— Ну что вы! Что вы! — закудахтали консультанты.

— Как можно!

— Профессор Оноре Туапрео — ученый с мировым именем!

— Да, профессор Оноре Туапрео...

— Простите, товарищи, но я вас перебую вопросом. Скажите пожалуйста, кто из вас и где читал или слышал, лучше читал, что-нибудь о профессоре Оноре Туапрео до сегодняшнего дня?

— Собственно говоря....

— Конечно, если...

— Видите ли...

— Достаточно, достаточно! Этого совершенно достаточно!

— Итак, оставим в стороне мировую известность профессора Оноре Туапрео и займемся делом. Так как, к сожалению, никто из вас не может ничего определенного сказать ни о торфяных возможностях предполагаемой концессии, ни о недрах озера Гнилого, — я полагаю, необходима,

прежде чем подписать договор, — разведка в Рязанский округ. Имеются возражения? Нет? Итак, на этом мы закончим наше сегодняшнее совещание, а господа концессионеры подождут.

12

Дни убегали от города, и город лихорадочно гнался за днями. Улицы переполнялись людьми и пустели к ночи, с тем чтобы наутро вновь переполниться. Многомиллионный город жил, дышал, торопился.

Вынужденные бездействовать, концессионеры томились и нервничали.

Утром, покончив с туалетом и завтраком, — они выходили на улицу и сливались с шумной толпой. Невольно поддаваясь деловой спешке улицы, они ускоряли шаги, учащали дыхание, заставляли быстрее биться сердце — и тоже спешили.

Но спешить было некуда.

Каменная громада здания Главконцесскома хмуро глядела и строго хлопала входной дверью.

Концессионеры стояли на противоположном тротуаре, с завистью глядя на тех, кого проглатывала заветная дверь. Концессионеры — ждали. Хотя, собственно, ждать было нечего. Ясно было сказано, что предложение должно быть проработано и ответ может быть не ранее, как через десять дней. Но концессионеры ждали: быть может, выйдет кто-нибудь из этой заветной двери, позовет их, пригласит, скажет:

— Господа, — ваше предложение принимается!

И действительно — выходили люди, поодиночке и парами. Но никто не звал концессионеров и даже никто не замечал их.

Люди торопились мимо, шумела улица, катилась деловая жизнь.

— Ну что ж, пойдёмте, господа! Нам осталось ждать ещё восемь дней!

— Да, пойдёмте, господин Бартельс! Увы! Ещё целых восемь дней.

Уходя, учитель ещё долго оглядывался на здание, где решалась наша судьба, и тяжело вздыхал. Вздыхал и господин Бартельс. Только я один стоически переносил испытание — и не вздыхал. Правда, мне помогали в этом многочисленные встречные москвички. Ведь язык глаз одинаков во всем мире, и мимолетные улыбки, молниеносные романсы-взгляды, — так же возможны в Москве, как и в Париже. Словом, — я не вздыхал.

Но все же, приличия ради, чтобы не нарушить настроения, господствовавшего в концессии, я также молча следовал за учителем и Бартельсом.

Итак, в шумном и занятом городе бродили мы — три бездельника, тяготящиеся своим бездельем.

Был радостен нам вечер, умерщвлявший день. Мы зажигали огни в наших комнатах и говорили о дивном, богатом городе и его странной судьбе.

Говорили о том, как мы, французы, завершим судьбу этого чудесного города.

А в это время — рязанскими проселками, рязанскими полями и лесами пробиралась к озеру Гнилому разведывательная экспедиция Концесскома.

И над проселками, и над полями — дни бежали так же, как над городом. Люди также гнались за днями и также не могли их догнать.

На смену неделе — приходит новая, и вот уже в Концесском доподлинно известно — об этом доложил начальник экспедиции, — что ни в озере Гнилом, ни в болотах, его окружающих — нет залежей торфа, представляющих ценность для эксплуатации. Обыкновенное озеро, обыкновенные болота, каких в России тысячи. Досадно только, что во время работ экспедиции погибли две лодки, «Чайка» и «Нырок», разбитые внезапной бурей. Вместе с лодками затонули два водолазных костюма. Но все же — хорошо, что не было человеческих жертв.

Итак — обыкновенное озеро и обыкновенное болото. Странные какие-то эти господа концессионеры. Концессию, конечно, можно разрешить... Но все же...

— Алло! Алло! Дайте коммутатор ОГПУ! Да! Да! Пожалуйста!

А дни все листаются. Их бег отмечают оборванные листки календарей. В девятый день ожидания, как и в первый, концессия в полном составе уныло бродила возле здания, войти в которое можно только завтра. И хотя ждать было нечего — все же ждали.

Быть может, выйдет кто-нибудь из этой заветной двери, позовет, пригласит, скажет:

— Господа, ваше предложение принимается!

И действительно, хотя никто не вышел и не пригласил, — звонил нужный телефон и говорил верный голос:

— В городе они совершенно одни, по крайней мере, пока. Полагаю — концессию можно выдать. Мы не будем терять их из виду. Да, да! Ну, — пока! Если что-нибудь выяснится — позвоню.

.

С падающими сумерками — мы опять уходили домой. Но на этот раз дорогой учитель не оглядывался и не вздыхал. Мы торопились в гостиницу, мы торопились уснуть, мы спешили навстречу желанному «завтра».

— Жю, вы, кажется, хотели пойти в кино.

— Но, дорогой учитель...

— Да, дитя мое, да, — вы хотели, и я думаю, что вы можете пойти в кино. Мы уедем и бог знает, когда вам еще придется побывать в кино.

— Но учитель, я не...

— Ничего, ничего, дитя мое, кино — это разумное развлечение и я думаю, господин Бартельс не будет возражать.

— Вы хотите в кино, Жюль?

— Я не...

— Да, да, — он хочет и пусть идет!

Учитель сказал последние слова резким и раздраженным тоном, и хотя я и не думал ни о каком кино, и вообще не понимал, в чем дело, — я все же покорился. Бартельс и учитель свернули направо, а я поплелся к кино.

— Кино? Кино... Какое к черту кино! Ах, — да!

Тут только, у самого входа в театр, — я вспомнил и понял, почему спровадил меня дорогой учитель в кино. Это было условное слово.

«Ах, я — осел! Однако, у меня короткая память!»

.

Посмеиваясь над собственной забывчивостью, я направился к нашему водолазу — предупредить его о скором отъезде.

Это была значительная и торжественная минута! Вероятно, никто из нас никогда не забудет о ней, в особенности господин Бартельс.

— Итак, господа, мы можем выдать вам желаемую концессию, но...

О, эта пауза, — мне показалось, что мое сердце лопнет, прежде чем она окончится.

— ...Но мы должны вас заранее предупредить, что, по имеющимся у нас данным, в указанной вами местности нет ценных залежей торфа и вообще нет залежей богатых ископаемых.

Говоривший замолк, и я отчетливо слышал в томительной тишине, как мое сердце отбивает бешеный такт.

— Собственно говоря...

Господин Бартельс произносил слова тяжело, словно ворочал камни.

— Говоря собственно... торф там... должен быть... Наш ученый... Оноре Туапрео...

Господин Бартельс обернулся и угрожающе прошипел:

— Да скажите же, черт вас побери! Онемели вы, что ли!

Я подтолкнул в бок дорогого учителя, — да простит бог мне мою грубость.

— Ммм... — замямлил учитель. — Ммм...

— Да? Я вас слушаю, уважаемый профессор!

— Видите ли, уважаемый господин чиновник...

Я дернул учителя за фалду.

— То есть, виноват, я хотел сказать — уважаемый господин Концесском... То есть, не то...

— Ну, да это неважно, — продолжайте!

— Да, конечно... Я продолжаю... Видите ли, я полагаю, что мы все-таки возьмем эту концессию, хотя, конечно, не сомневаемся в верности ваших данных...

— Но торф, торф, — скажите же про торф! — прошипел Бартельс.

— Да, торф...

На минуту, только на одну минуту дорогой учитель задумался.

— Собственно говоря, наша концессия собирается преследовать не столь коммерческие цели, как научные. А потому, торф, то есть, я хочу сказать, обилие торфа — для нас не особо существенно! Нас интересует геологическое строение местности, нас интересует профиль дна озера Гнилого, словом, если с вашей стороны не встречается возражений, — мы хотели бы получить эту концессию! — блестяще закончил Оноре Туапрео.

— Пожалуйста, господа, но вы предупреждены! Вот договор — и мы его можем подписать.

Господин Бартельс взволновался пуще прежнего.

— А пункт, пункт об озере тут есть?

— Да, конечно — вот он, редакция, указанная вами: «Все извлеченное со дна озера Гнилого, или из недр, ныне лежащих под водами озера Гнилого — поступает в полную собственность концессионеров, французских поданных господ Оноре Туапрео, Дэвида Бартельса и Жюлья Мэнна».

— И мы беспрепятственно сможем это вывезти?

— О, помилуйте, вы же видите: «собственность подданных». Международное право...

— Ах да, да, вы правы, — международное право... Ну, прекрасно, прекрасно!

— Итак, — мы приступим?

— О да, да, — приступим!

Что говорить обо мне, самом младшем из концессионеров, что говорить обо мне, если даже почтенные седины и не менее почтенная ученость Оноре Туапрео, если даже почтенное и не менее почтенное состояние Дэвида Бартельса не смогли удержать пера в их руках без колебательных движений, именуемых дрожью. Конечно, у меня отчаянно дрожала рука, когда я подписывал этот знаменитый договор, но все-таки я его подписал. Дальше — было как во сне, все было покрыто каким-то лихорадочным, волнующим туманом. Мы сидели в креслах и ждали, пока покончат все формальности. Мне казалось, что мы ждем уже целую вечность, что этому томительному ожиданию никогда не будет конца. Откуда-то издалека, так мне показалось, — доносясь голос:

— Ну вот и все, господа! — Прошу вас, вы можете получить договор.

Господин Бартельс крепко ухватил заветную бумагу и основательно запрятал ее в свой объемистый бумажник.

— Итак, господа, — желаю вам успеха!

— Да, да, — благодарим!

— Спасибо!

— Ффу! — наконец-то мы вышли на улицу.

— Такси! Такси!

В изнеможении от пережитого волнения, мы ввалились в первый попавшийся такси.

— Пошел прямо!

Автомобиль мчался и мы блаженствовали, отдыхая, словно после тяжкого, утомительного труда.

— Ффух!

— Уф-ф!

Каждый отдувался на свой манер. Автомобиль мчался, мелькали дома, — мы приходили в себя. Господин Бартельс хитро подмигнул нам левым глазом, вынул бумажник и вытащил желанный договор, скрепленный подписями и

печатами. Мы с вождением щупали эту бумагу, мы смотрели ее на свет, мы гладили ее, словно это было живое существо.

— Хи-хи! — подхихикнул дорогой учитель.

— Ха-ха-ха! — ответил господин Бартельс.

— Ох-хо-хо-хо! — залился я.

Мы смеялись. Автомобиль мчался, а мы надрывались от смеха. Мы хохотали так, как никогда уже больше не будем смеяться.

— Ох, ха-ха... Не могу!

— Ослы! Торф... ха-ха-ха — торф! Вы слышите, господа, — торф!

— Ох-хо-хо, — ну и ослы! Отдать сокровища града Китежа!

— Хи-хи, в полную собственность французских подданных!

— Ох, не могу, помру, помру! Живот, ох, живот!

— Погодите! Стойте!

В воцарившейся тишине только шины шуршали.

— Погодите! Но вы уверены, профессор?

Голос Бартельса был суров и угрожающ.

— Как в том, что мы только что смеялись!

Дорогой учитель торжественно поднял руку.

— Уверены? Ха-ха-ха!

Опять засмеялся Бартельс. Опять захихикал дорогой учитель. Опять захохотал я.

Автомобиль выезжал за город. Мы смеялись.

13

Это озеро и в самом деле оказалось гнилым. Наша экспедиция двое суток тащилась вязким болотом. То и дело загружала одна из подвод. Лошадь, тяжело ходя взмыленными боками, бесцельно билась в вязкой грязи и в конце концов затихала в изнеможении. Сбегались на помощь

бородатые подводчики. Они хватались жилистыми руками за колеса. Подпирали увязшую телегу широкими плечами. Пронзительно и дико кричали на лошадь. Они не жалели своих сил. Они не жалели своих, лошадиных и вообще чьих-то — неизвестных — матерей.

Это русская особенность — в тяжелых случаях жизни упоминать мать. Дорогой учитель говорит, что это несомненные отголоски древнерусского матриархата.

Так или иначе, но загрузшую подводу сдвигали с места и мы продолжали путь. А там — опять остановка, опять дикие крики, опять древнерусские отголоски.

Дорогой учитель, завидуя неувядаемым лаврам Даля, не терял времени и делал свои ученые наблюдения над русским народным языком. Он тщательно записывал под порядковым номером все многочисленные обороты «матриархата». Когда мы прибыли к озеру — порядковый номер перевалил за сто. Богат и образен русский язык!

К вечеру третьего дня мы добрались до озера.

День умирал, тихий и безветренный. Громадным красным шаром погружалось солнце в воды. Озеро лежало недвижимое, словно зеркальное. Отраженное солнце золотило воду — и лежала она расплавленным драгоценным металлом.

Подводчики и рабочие шумно возились, устраиваясь на ночлег и отдых.

В торжественном молчании мы, трое, отошли в сторону, чтобы не видеть и не слышать людей, и двинулись берегом. Впереди шел дорогой учитель. Он обнажил голову и легкий ветерок играл его седыми кудрями. Я и господин Бартельс в почтительном молчании следовали за профессором, как ученики за пророком. Мы взошли на бугорок и остановились. Насколько хватало глаз — перед нами растопилось расплавленное золото.

— Вот! — учитель простер руку и мы с господином Бартельсом затаили дыхание.

— Вот смертельная купель таинственного города! Эти спокойные воды веками ревниво берегли свою тайну, свои сокровища. Но ход судеб предопределен. Мы вырвали у

ревнивого стража его тайну, — мы вырвем у него сокровища!

Учитель замолк и застыл с простертой рукой. В торжественном молчании стояли победители над побежденным. О, дорогая Клэр, этот момент был величествен и прекрасен, и мне было горько, что вы не с нами, не со мной.

Солнце торопливо тонуло в золотых водах и сумерки сбегались к нам со всех сторон. Темнел воздух, вода темнела и теряла свой блеск. Господин Бартельс поспешно вынул бумажник и извлек договор. Я обнажил голову. Медленно и четко выговаривая слова, господин Бартельс зачитал исторический документ. Торжествующе и победно прозвучали последние слова: «...поступает в полную собственность концессионеров!»

Мы утвердились в правах на добычу. Покорная и спокойная — она лежала перед нами...

Легким шагом сбегали мы с пригорка и подошли к озеру. Мы нагнулись. Мы зачерпнули воды. Дорогой учитель лил розовую от солнца влагу, глядя на нее вдохновенно, словно текла сквозь пальцы его гениальность, его прозорливость, его неоспоримая ученость. Господин Бартельс сжал в кулак прохладу влаги, сладостно жмурясь, словно в руке у него хрустели бесчисленные, новенькие ассигнации. Падая с моей ладони, мелкими блестками рассыпалась вода и, казалось — шепчут брызги: «Она твоя! Она твоя!»

Озеро потемнело. Солнце спряталось окончательно. Нас окружила ночь. Возбужденные и усталые, мы возвратились в лагерь.

14

Первые лучи восходящего солнца едва румянили спокойные воды озера, когда я проснулся.

Ах, черт побери, — как хорошо жить на свете, когда с тобою молодость, вера и надежды, близкие к осуществлению!

В лагере еще все спало, и только постель Оноре уже была пуста. Он, по-видимому, поднялся еще раньше и куда-то ушел. Я осторожно встал, чтобы никого не разбудить и, шагая через спящих, пробрался к Ивану Федоровичу, — так звали нашего водолаза. Он лежал, раскинув руки в стороны, и храпел, как говорят французы — во все носовые за-вертки.

— Иван Федорович, а, Иван Федорович! — окликнул я осторожно. Храп усилился, и к нему прибавилось сладостное причмокивание.

— Иван Федорович!

— Агммм... Хрр! Хррру!

— Да проснитесь же!

— Угу! Мм-да! Мм-да!

Иван Федорович благожелательно улыбнулся, не открывая глаз, и перевернулся на другой бок. Причмокивание и храп усилились. Выведенный из терпения, я изо всей силы ущипнул его.

— Что? А? — рывкнул по-медвежьи на весь лагерь и вскочил в испуге Иван Федорович. Я поспешно прикрыл ладонью его необъятный рот.

— Шшшш! Тише! Это я.

— Ах, вы?

— Ну да — я.

— Какого же вы черта щиплетесь? Я думал, что какая-нибудь змея болотная добралась до меня, — перепугался смертельно.

— Да нет, это я. Слушайте же, Иван Федорович... Тшшш! Кажется, кто-то проснулся! Да пригнитесь же вы! Нет, — показалось. Я пришел напомнить вам все, что вы должны сделать...

Глаза Ивана Федоровича налились кровью, руки сжались в кулаки. Недоумевая, я все же, на всякий случай, отступил.

— Послушайте, вы, француз тонконогий, — вы хотите, чтобы я вас превратил в отбивную котлету?

— Тише, ради бога тише, Иван Федорович!

— Да что я в самом-то деле, мальчишка, что ли! Только что был этот самый, дедушка ваш сумасшедший, тоже разбудил меня, — теперь вы! Что же это, в издевку, что ли? Так тот хоть не щипался, а вы...

— Я умоляю вас, Иван Федорович, — тише! Я ведь не знал, что господин Туапрео уже разговаривал с вами сегодня.

— То-то, — не знал!

— Да, но вы все помните, Иван Федорович?

Отнюдь не ласково, но очень выразительно посмотрел на меня Иван Федорович, сплюнул презрительно, лаконически бросил «помню!» и, не обращая на меня внимания, улегся и почти моментально опять захрапел. Я выждал с минутку, убедился, что все, в том числе и господин Бартельс, мирно спят, — и пошел к озеру.

Удивительный народ эти русские, с ними ужасно трудно сговориться, в особенности, если они хотят спать. И подумать только, что в руках этого заросшего бородой человека — наша судьба! Нет, лучше не думать!

По берегу озера я направился на поиски Туапрео. Я изрядно устал, пока нашел его, но дорогой учитель был неутомим. Он ползал на коленях по крутому обрывистому берегу, что-то измерял, записывал в свой блокнот, вычислял, опять ползал и опять измерял. То в одном, то в другом месте он набирал полные пригоршни вязкого грунта, растирал его между ладонями, смотрел на свет и даже, кажется, пробовал на вкус.

Увлеченный работой, учитель не замечал меня. В восхищении перед неутомимостью этого великого человека, я тихонько присел на землю и восторженно наблюдал за ним. На лице ученого играла торжествующая улыбка, по-видимому — изыскания увенчались успехом. Наконец, Оноре Туапрео окончательно стряхнул с ладоней землю, спустился к озеру, обернулся и заметил меня.

— Дитя мое! Вы здесь? Как это прекрасно! Идите-ка сюда! Сюда, сюда!

Мы оба опустились на колени и поползли по обрыву.

— Вот видите, дитя мое... Вы знакомы с геологией?

— Нет, дорогой учитель, не имел чести знать этой прекрасной дамы.

— О да, Жю, вы не ошиблись, — эта дама действительно прекрасна, даже несмотря на свой почтенный возраст. Ну, так вот, я вас познакомлю. В то время, когда земля представляла собой еще жидкое, расплавленное тело...

Я до сих пор с восторгом вспоминаю эту импровизированную лекцию. Она была блистательна и глубока. Я сразу познакомился с геологией, с геохимией, с третичным периодом, напластованиями мезозойской эпохи и еще с двумя десятками каких-то эпох и периодов. Правда, к концу лекции все. эпохи и периоды перепутались у меня в голове в полнейший хаос мироздания, но ведь это вина моя, а не дорогого учителя, — лекция была блестяща! Наконец, учитель кончил.

— Надеюсь, вы поняли, дитя мое?

Я поспешил уверить вдохновенного лектора в том, что я все превосходно понял и даже, для вящей убедительности, ввернул какое-то, не то минозаврное, не то палеозойское словцо. Мне ужасно хотелось есть и я трепетал от боязни, что Туапрео усомнится в моей понятливости. Но на сей раз мне повезло.

— Ну вот, ну вот, — я всегда говорил, Жю, что из вас выйдет толк.

— О, вы великодушны, учитель, но кажется, нам, пора в лагерь, вероятно нас заждались с завтраком.

— С завтраком? — удивился Туапрео и под ложечкой у меня тоскливо заняло.

— Ах да, с завтраком!

У меня отлегло от сердца и мы направились к лагерю.

Над лагерем стоял гомон и шум. Из ближайших деревень съехалось десятка два подвод с любопытствующими крестьянами. Неведомо каким образом, но они узнали, что в озеро будет опускаться водолаз — водяной человек, — и вот, пользуясь нерабочим днем, они приехали посмотреть. Рабочие и крестьяне усиленно обменивались впечатлениями, делились новостями и вообще вели себя так, как будто они старинные друзья и знакомые, а не только что случай-

но встретившиеся люди. Вероятно, это особенность русской нации — так быстро знакомиться и даже, я бы сказал, дружить. Впоследствии я узнал, что этот своеобразный обычай имеет и свое название, — «смычка».

Когда мы с дорогим учителем подошли к лагерю, — все уже было готово к тому, чтобы начать изыскания, ждали только нас. Лодки были спущены на воду. Господин Бартельс, явно чем-то расстроенный, поспешно отозвал нас в сторону.

— Господа! — торжественным полупшепотом начал Бартельс. — Господа, неприятные новости!

— Что случилось?

— Не знаю, случилось ли, но боюсь, что случилось!..

Мы с дорогим учителем сгорали от нетерпения, но, зная отвратительную манеру Дэвида Бартельса медлить и говорить с многозначительными паузами, — кротко молчали.

— Боюсь, господа, что нас опередили!

— Что?

— Как?

— Да так! Вот эти крестьяне рассказывают, что несколько дней тому назад здесь уже были какие-то люди, «водяные люди», как они говорят. Эти самые водяные опускались на дно, исследовали, кажется, что-то нашли...

— Ну, ну! И...

— Но, к счастью, нам повезло, — на обратном пути поднялась буря и они перевернулись. Все ими найденное опять затонуло. Они уехали ни с чем.

— Ну, а дальше, дальше-то что?

Господин Бартельс покраснел от возбуждения.

— Ведь это значит, что о сокровищах знает еще кто-то! И этот кто-то уже пытался их обнаружить!.. И, может быть, обнаружил!..

— Ура! Ура! Ура! — в восторге закричал я и бросился на шею сперва дорогому учителю, а затем господину Бартельсу.

— Чего вы орете? Молодой осел, чего вы орете? — багровея, уже не шептал, а кричал господин Бартельс. На радостях я пропустил мимо ушей нелестный эпитет.

— Да как же не орать, ведь это прекрасно, превосходно, восхитительно!

Мои собеседники ничего не понимали.

— Ну да как же, ведь, стало быть, мы не ошибаемся, стало быть, сокровища здесь!

— Да, но эти люди, которые были...

— Чепуха! Чепуха, чепуха и еще раз чепуха!

Я выдержал значительную паузу.

— Господин Бартельс, позвольте мне на минутку ваш бумажник.

Бартельс протянул бумажник. Я вынул концессионный договор, развернул его, разгладил. Показал Бартельсу и учителю подписи и печати, опять выдержал паузу.

— Господа! Договор подписан, скреплен печатями и не какими-нибудь, а правительственными, а, следовательно, как говорят у нас во Франции, — никаких гвоздей!

С благодарностью, молча, жали мою руку Туапсео и Бартельс. Затем мы трижды прокричали — «Vive la France!» и опять приняли степенный и достойный звания концессионеров вид.

Последние торопливые распоряжения отданы и мы отплыли. На берегу любопытствующие крестьяне. Равномерно взмахивают весла, берег все удаляется и удаляется.

Теперь все мы, и концессионеры, и просто члены экспедиции, отошли на второй план. Главное действующее лицо сейчас Иван Федорович. Он облачился в свой водолазный костюм. У ног его лежит скафандр, словно чья-то чудовищная голова.

Иван Федорович командует:

— Стоп!

Лодки останавливаются и застывают на месте. Иван Федорович вынимает какой-то таинственный инструмент, нажимает какие-то невидимые кнопки: из инструмента со свистом вылетает бечева, погружаясь в озеро. Многозначительно морща лоб, Иван Федорович что-то невнятно бормочет, словно произносит заклинания.

— Наддай весла!

Гребцы ударяют по воде.

— Право руля!

Лодки поворачивают вправо.

— Лево руля! Стоп!

Как заправский шкипер, командует Иван Федорович и приказания его исполняются беспрекословно. Опять шипит таинственный инструмент и опять погружается бечева в воду. Но из этого, кроме глубокомысленных морщин на лбу Ивана Федоровича, — ничего больше не выходит. Солнце подымается все выше и выше — становится жарко. Из объемистых своих ящичков Иван Федорович достает некий прибор, по виду очень похожий на лошадиный термометр, и погружает его в воду.

Опять тишина. И опять глубокомысленные морщины.

— Наддай весла!

Лодки снова мечутся по озеру. Действия Ивана Федоровича непонятны и таинственны. Все члены экспедиции смотрят буквально ему в рот. Солнце жарит во все лопатки. Становится нестерпимо жарко. Иван Федорович опять командует. Лодки снова вертятся, снова шипит бечева и погружается в воду лошадиный термометр, «гидрант», как назвал его Иван Федорович. Мы все понемногу начинаем уставать и только господин Бартельс с неослабным вниманием следит за Иваном Федоровичем.

— Стоп! — раздраженно и зло скомандовал Иван Федорович.

Послушные лодки застыли.

— Тут придется мне исследовать пока лично! — туманно объяснил Иван Федорович и не спеша начал раздеваться. Снял костюм. Снял белье. Мелькнул белым телом и нырнул. Через секунду он появился на поверхности и, отфыркиваясь, поплыл, изредка ныряя.

Ах, черт побери! Мне было понятно все. Просто ему стало жарко и он решил освежиться. Я с удовольствием последовал бы его примеру, — но ведь он не купается, а «исследует пока лично»! М-да, — положеньице! Но приходится молча обливаться потом. А Иван Федорович, в достаточной степени исследовав лично, влез в лодку, обсох на солнышке и снова облачился в свой костюм. Господин Бар-

тельс был неутомим — он не спускал с него глаз. Дорогой учитель пытался отвлечь его внимание разговорами на геологические темы, но Бартельс остался равнодушен ко всем эпохам и периодам, и даже минозавры не привлекли его внимания.

Так промучились мы весь день. Солнце клонилось к западу и падало за горизонт, когда, усталые и голодные, мы возвратились к месту стоянки.

Это был первый день исследований.

Луна ныряла в тучах, как углый челн в разбушевавшихся волнах, и призрачные блики танцевали над болотом и озером. Над лагерем стоял мерный храп утомившихся за день людей. Две молчаливые фигуры бесшумно поднялись, осторожно обошли полупогасший костер и потонули в потемках.

Ночь моргала лунным глазом. В неверном свете скользили ноги. Шурша, скатывались и с легким всплеском падали в воду комья земли. Озеро лежало неподвижное, черное и загадочное. Туман клубился над водою седыми хлопьями.

— Дитя мое, дайте руку, у меня подгибаются ноги!

Две тени слились в одну. Угли костра скрылись в ночной тьме. Лагерь остался позади.

— Что же делать? Ведь этому несчастному, тупоумному негодянту нужны доказательства: реальные, ощутимые!

— Да, дорогой учитель, — они ему нужны...

Мятущиеся души присели на берегу и уставились ищущими взорами в ночную тьму. Жюль медленно отламывал кусочки грунта и бросал их в воду. Ветер играл кудрями ученого и освежал разгоряченный мозг. Тишина нарушалась только всплесками воды. Трижды прокричала болотная птица. Все было таинственно и поэтично, — недоставало только русалок и водяного. Но вот блеснули в потемках глаза Туапрео и он воспрянул, как лев, учуявший добычу.

— Вперед, дитя, за мною!

Поднялся ветер. С головокружительной быстротой помчалась луна, зарываясь в обрывки туч.

По спящему лагерю бесшумно скользили две тени. Они застыли на мгновение и склонились. Медленно поднялась третья тень, и вот — три призрака, крадучись, отошли в сторону и зашептались. Голос Оноре Туапрео был уверен и спокоен.

— Вы поняли?

Иван Федорович основательно почесал затылок. Это специфическая русская особенность, — в затруднительных случаях жизни они всегда скребут затылок.

В воцарившейся тишине слышно было, как расталкивает луна тучи и с трудом пробирается по намеченному пути.

— Ну? — не выдержал Туапрео и эхом отозвался Жюль:

— Ну же!

Иван Федорович безмолвствовал. В таинственной тишине ласковым шелестом прошуршали ассигнации и затихли в широкой ладони Ивана Федоровича. Четко повторил Туапрео:

— Вы поняли?

— Ну, ладно, товарищи капиталисты, — это пойдет по фонду амортизации.

От конфуза луна запряталась, и воцарилась крошечная тьма. Под ее покровом три тени пришли к соглашению, пробрались на свои места и слились с грудой спящих тел.

16

Мы уже с час, так же как и вчера, безрезультатно бороздили озеро в различных направлениях. Иван Федорович был суров и задумчив. В торжественной тишине он промерял глубину и орудовал гидрантом. Дэвид Бартельс с напряженнейшим вниманием следил за всеми его действиями и, очевидно, нервничал. Я и профессор томились и тоже нервничали.

Тень решимости пробежала по лицу Ивана Федоровича и он зловеще уронил:

— Спускаюсь!

Лодки застыли в неподвижности. Люди затаили дыхание. Правое колено Оноре Туапрео начало неистово подпрыгивать, выбивая тревожную дробь. Дэвид Бартельс беззвучно барабанил пальцами по скамье.

Иван Федорович глянул на нас, на воду, на солнце, перекрестился — и одел скафандр. Спустили лесенку. В торжественной тишине Иван Федорович погрузился в воду. Над макушкой скафандра булькнула вода и опять воцарилась тишина.

— Я... я.. Да посторонитесь же вы, черт побери! Я должен видеть!

Покрасневший от возбуждения Дэвид Бартельс пробрался к борту и склонился над водой, упорно глядя на то место, где исчез Иван Федорович.

Контрольный канат в руках рабочего разматывался быстро и бесшумно.

Вот он замедлил свой бег, остановился, натянулся, ослаб, снова натянулся. Тишина на озере нарушалась только нашим тревожным дыханием. И я, и учитель, да и все в лодках вытягивали шеи, чтобы увидеть эту трепещущую, живую веревку, последнюю осязаемую связь с исчезнувшим Иваном Федоровичем.

Лодка накренилась. Дэвид Бартельс, перегнувшись за борт, сверлил глазами спокойную гладь воды, словно мог что-то увидеть в ней

— Ах, да что же он там копается! — истерически выкрикнул Оноре Туапрео и в нетерпении рванулся вперед. Лодка качнулась.

— А-ах!

Бац!..

Брр! Шлеп!

Брызги. Крик. Переполох. Полная растерянность всех. Только я — с гордостью отмечаю это, — только я, как старый морской волк, не растерялся и, вскочив на скамейку, закричал:

— Человек за бортом! Человек за бортом!

Ах, Клэр, почему вы не видели меня в эту минуту?

— Человек за бортом! — надрывался я. Пока я кричал, господин Бартельс — а это он вывалился из лодки — замолк и, погружаясь в воду, пускал пузыри, потрясая в воздухе судорожно сжимающимися руками.

— Да не ори ты, черт!

Кто-то довольно энергично толкнул меня, и я полетел в лодку. Падая, я услышал всплеск бросившегося в воду тела и, не теряя присутствия духа, пуще прежнего закричал:

— Два человека за бортом! Два человека...

Молнией прорезало мою память, я вспомнил международный сигнал и во всю силу легких заорал:

— S. O. S.! S. O. S.!

— Дитя, дитя, успокойтесь! Его вытаскивают! Его вытаскивали!

Я не унимался.

— S. O. S.! S. O. S.!

Мне показалось, что учитель дал мне крепкого подзатыльника. Не знаю, так ли это, но во всяком случае я внезапно уткнулся в его колени и вынужден был замолчать.

Лодка качалась. Встревоженные голоса гудели над моей головой, но я еще с трудом соображал, где я и что со мной. Наконец, я отдышался и пришел в себя от пережитых волнений.

Посреди лодки лежал в лужах воды господин Бартельс. Он был без сознания. Нужны были быстрые и решительные действия. Гениальный ученый Оноре Туапрео оказался, как всегда, самым находчивым человеком. Он отдал распоряжения и Бартельса перенесли во вторую лодку. Взмахнули весла и лодка стремительно помчалась к берегу.

— Ко-о-няком! Коньяком не забудьте растереть и две капли в рот! — кричал вдогонку уезжающим Оноре Туапрео и от удовольствия потирал руки. Я недоумевал. Как только лодка с несчастным Бартельсом скрылась с глаз, учитель подошел к дежурившему у сигнальной веревки.

— Ну, что?

— Да ничего. Никакого сигналу не дает, работает, видно.

— Дурак! Как может быть «видно», когда это под водой,— видно не может быть! Отойди.

Учитель весь преобразился. Плечи расправились и глаза молодо заблистали. Он взял в руки сигнальную веревку и скомандовал:

— Все на корму!

Гребцы и рабочие сбились на корме. Я попытался приблизиться к учителю, но он повторил:

— Все на корму!

Мне оставалось подчиниться. Склонившись над водой, учитель энергично дергал сигнальную веревку. Через минуту показался над водой скафандр, а затем и весь Иван Федорович. Он откинул свою чудовищную медную голову.

— Какого черта!..

— Молчать! — перебил его учитель и зашептал. Иван Федорович засуетился, загремели железные ящики.

— Повернуться всем крутом! — твердо скомандовал Оноре Туапрео и мы повернулись. Что-то шлепнулось в воду, опять загрохотали железные ящики Ивана Федоровича и прозвучала новая команда:

— Сесть по местам!

— Ну, Иван Федорович, вы можете отдохнуть, а затем опять спускайтесь на поиски.

Учитель, молодо улыбаясь, подошел ко мне и сел рядом.

— Ну, дитя мое, сокровища наши, изыскания начинаются! — при этом он многозначительно подмигнул мне правым глазом.

Иван Федорович отдохнул и снова, облачившись в свой костюм, погрузился в воду.

— Да-с, дитя мое, мне кажется, что мои выкладки непогрешимы! Если принять во внимание, что в течение суток зеркальная поверхность, опущенная на глубину 12 метров, покрывается слоем ила в 2,0133 миллиметра, то в течение недели она покроется в пять раз, запомните, в пять, а не в семь больше, понятно?

— Да, да, дорогой учитель, понятно,— все понятно и проверено!..

Через два часа наша лодка причалила к берегу.

расходы.

Глаза господина Бартельса налились кровью; от охватившего его гнева он даже не мог ничего сказать и этим воспользовался дорогой учитель.

— Мы будем продолжать работы. Водолазу не удалось обнаружить ничего, кроме вот этого странного кома, я бы сказал, глыбы.

С этими словами Оноре указал Бартельсу на предмет, извлеченный из озера. Господин Бартельс приподнялся на локтях и уставился на него.

— Это глина, по моему — культурная глина, но вот здесь торчит какой-то кусок дерева, и он меня очень интересует.

Господин Бартельс приподнялся еще выше.

— Вот мы сейчас узнаем, что это за дерево. Дитя мое, крикните людей, пусть размоют эту глину!

— Остановитесь! Стойте!

Все одеяла разлетелись в стороны. Бартельс выпрыгнул из постели и загородил выход из палатки.

— Остановитесь! Стойте! Вы с ума сошли! Дерево? Где дерево?

Бартельс схватил руками глину и любовно поглаживал ее.

— Никаких людей! Никаких! Мы — сами!

— Жюль, пожалуйста, за водой! Ведро воды! Несколько ведер воды!

Я вышел из палатки. Когда я вернулся, Дэвид Бартельс и Оноре Туапрео сидели на земле и руками осторожно отдирали от глыбы кусочки глины. Дерево обнажалось.

Втроем мы принялись за работу. Мы обмывали обнажавшееся дерево, мы работали в поте лица. За стенами палатки утих говор людей, погасли вечерние костры, черной кошкой пробежала ночь.

На утренней заре, утомленные, но бодрые — мы окончили нашу работу. С блаженным видом сидели мы на корточках, а перед нами лежал обломок ларца. Он был изъеден червями, полуразрушен, но все еще хранил следы высоко художественной работы. Несомненно, — это чудом уце-

левший на поверхности дна озера обломок одного из бесчисленных ларцов града Китежа.

Нежно ласкал его Дэвид Бартельс одной рукой. В другой он сжимал слиток золота странной формы, напоминающей древние монеты. Этот слиток мы обнаружили в самом углу обломка, среди грязи и ила.

Утренняя заря разгоралась все ярче и ярче, а мы сидели, потрясенные открытием. Наконец Бартельс, бережно запрятав в бумажник золото, — поднялся.

— Идемте, гениальный учитель, идемте сейчас же!

Они поднялись и вышли. Я так устал, что не смог следовать за ними.. Я упал на постель и моментально уснул.

— Вот здесь мы пророем первый канал, а там вот, чуточку восточней, он должен будет соединиться со вторым! Вы понимаете, Бартельс?

— О да, да, дорогой Оноре, — я все понимаю, хотя ничего не понимаю! Но главное, что вы это понимаете, а ведь вы капитан!

— Итак, гениальный учитель, мы приступаем к капитальным работам! Я не могу, я в восторге, я влюблен в вас, гениальный учитель! Разрешите мне поцеловать вас!

Розовые в лучах восходящего солнца — они крепко обнялись и расцеловались.

17

Дэвид Бартельс не уставал подписывать чеки, и берега озера Гнилого со сказочной быстротой преображались.

Тесом свежих досок улыбались бараки рабочих. Резными коньками на окнах поглядывала контора. Железным шагом побежала вдоль берегов узкоколейка. Запыхтел паровичок. Сотни лопат вгрызались в землю. Отводные каналы щупальцами разбегались от озера. Где-то шипел подъемный кран и тяжело охкал, вбивая сваи, паровой молот. Работы концессионного предприятия на озере Гнилом с каждым днем разворачивались все шире и шире.

В конторе на новеньких ремингтонах стрекотали машинистки. Сгибаясь над журналами, прилежно вносили входящие и исходящие аккуратные регистраторы. Постукивал костяшками счетовод. Позванивал серебром кассир. Машина была пущена в ход, машина завертелась, — пошла, пошла, пошла! Господа концессионеры плутовато ухмылялись и исподволь потирали руки, предвкушая тот счастливый день, когда...

Ну да нет, лучше об этом не говорить. Да и некогда было особенно предаваться мечтам, — работа кипела, ею нужно было руководить, направлять, командовать. И господа концессионеры — командовали.

От конторы кабинеты концессионеров были отделены узким и длинным коридором.

**Ведающий
технической частью концессии
ЖЮЛЬ МЭНН**

Надпись красовалась на кабинете № 1.

Кабинет Жюлья был прост, как и всякая рабочая комната: стол, стулья, чернильный прибор, телефон, да на стенах громадные полотнища карт. Здесь вечно было полно народу.

Сюда собирались на бесконечные совещания инженеры и прочий командный состав. Приходили комиссионеры и инкассаторы самых разнообразнейших фирм и предприятий. Ежедневно прибегали из рабочкома. Сюда заглядывали все, кто, так или иначе, причастен был к развернувшимся работам. В кабинете было грязно и накурено. На столе вороха бумаг производили впечатление погрома. Только пылкий темперамент француза в состоянии был во всем этом разбираться, со всеми сговориться и поладить, даже крепко поругавшись предварительно, и чувствовать себя, как рыба в воде.

Жюль похудел. Он мало спал и ел без аппетита, но был доволен и радостен. С детства привыкший работать — он тяготился бездельем, и теперь работал запоем, враскоряку, со вкусом. Мысль о сокровищах града Китежа жила где-то подсознательно и вспоминалась только в те редкие дни, когда удавалось написать письмо Клэр. Теперь главное и единственное — была работа.

**Ведающий
научно-экспериментальной частью
профессор
ОНОРЕ ТУАПРЕО**

Так гласила табличка на кабинете № 2.

Редко чья-нибудь посторонняя рука открывала этот кабинет. Здесь слышен был робкий перезвон склянок и пробирок, наглое шипение примуса, да вспыхивало синим, загадочным цветом пламя бесчисленных спиртовок.

В халате, перепачканном пятнами всех оттенков и запахов, бормочущим привиденьем, седовласым и мистическим, бродил Оноре от спиртовки к примусу, от реторты к колбе. Чертил таинственные знаки на доске, стирал их, снова чертил и опять стирал.

Изредка неосторожно заходил сюда кто-нибудь из инженеров.

Тогда гасли все примусы и спиртовки, Оноре ловил несчастного за пуговицу, подводил его к доске и начинал:

— Мой юный друг!

Или, если даже профессору было неловко назвать «друга» юным:

— Мой милый друг! Знакома ли вам история нашей старушки?

Пауза.

— Нет, она вам не знакома!

Профессор тянул полоненную пуговицу книзу и жертва падала в кресло.

— Старушка наша сейчас покрыта твердью, то есть землей...

Тут Оноре впадал в глубокий пафос и дальше уже не говорил, а вещал, потрясая сединами и пальцем.

— Милый друг! (Или: — Юный друг!) Сейчас наша старушка больна артериосклерозом. Да, да — склерозом! Все эти ваши хваленые материки ни что иное, как болезненные наросты старости. Да-с, наросты! А в дни своей юности, в дни далекой невозвратимой юности, наша старушка-планета была прекрасна и газообразна! Понятно? Молодая она была, юная, газовая, то есть, я хотел сказать, газообразная. Вот такая! Вот видите, в этой пробирке клубится нечто неопределенное и полупрозрачное, — вот такой была в дни юности наша земля. Тысячелетья, миллионолетья шагали себе да шагали, и вот постепенно...

Заблудшая душа, попавшая в кабинет № 2, измученная и усталая, только к вечеру освобождалась от профессора.

Утром уборщица выметала из кабинета очередную «открученную» у посетителя пуговицу, а Оноре опять чертил на доске каббалистические знаки, бегал от примуса к спиртовке и от спиртовки к доске.

Теоретические изыскания и лабораторные опыты по воссозданию первоначального хаоса, первичного космоса захватили и увлекли седовласого юношу и он ни о чем больше не думал.

Сокровища града Китежа? Ха! Они придут к нему неизбежно. Гениальный мозг (а в этом Оноре Туапрео не сомневался) сумел пустить и поставить на рельсы нужную машину, она работает исправно и бесперебойно. Она в конечном итоге положит к его ногам заслуженную часть сокровищ града Китежа. Это бесспорно, это не подлежит сомнениям. Усомниться в этом можно, только разве будучи Бартельсом, но и Бартельсу даны неопровержимые доказательства. Итак — сокровища града Китежа идут, а пока займемся первичным хаосом.

— Мой юный друг! (Или: — Мой милый друг!)
— Знаете ли вы, что такое земля? Нет, вы не знаете...

Очередная пуговица жалобно попискивала в мощных пальцах ученого. Неизбежно уборщица выметет ее утром.

**Главный директор
господин
ДЭВИД БАРТЕЛЬС**

**Входить только с разрешения
ведающего технической
или научно-экспериментальной частью.**

Жюль Мэнн выдержал изрядную баталию с рабочком и за господина, и за приписку мелким, но четким шрифтом. Но в рабочкоме погорячились, а потом плюнули.

«Ну и черт с тобой, — господин так господин, лишь бы остальное по кодексу о труде!»

В стенной газете карикатуристы и рабкоры для «господина директора» не пожалели ни красок, ни рифм.

Господин директор расстроился, взбеленился и срочно вызвал Жюля Мэнна.

— Вы видели эту гадость в коридоре?

— Гадость?

— Ну да, как же вы это иначе назовете?

— Я не понимаю...

— Ну вот, вы вечно не понимаете! Я тоже не понимаю, почему, собственно говоря, вы ведаете технич...

— Господин Дэвид!

— Господин Жюль!

— Я вас попрошу, господин Бартельс...

— Да перестаньте вы! К черту! Я не об этом! Я возмущен! Я не допущу! Я не могу допустить! Хамье какое-то! Чумазые, грязные как свиньи, малограмотные рабочие и вдруг!... Да что вы таращите на меня глаза? Вы видели эту самую газету, с позволения сказать? Вы смотрели карикатуры? Вы стишки читали?

— Да что вы молчите, в самом-то деле, что вы молчите? К черту! Довольно!

Бартельс с грохотом повалился в кресло и трахнул по столу кулаком.

— Господин ведающий технической частью, предлагаю вам немедленно выяснить, чьи это художества, и в 24 часа уволить виновных! В противном случае я...

Жюль осторожно выглянул в коридор, поплотнее прикрыл дверь, запер ее и уселся в кресло напротив Бартельса.

— В противном случае вас, господин главный директор, осторожно возьмут вот за это место, приподымут и легонько поддадут вот под это место. Чуть-чуть, — только так, чтобы вы в кратчайший срок вылетели из пределов России. И это будет действительно противный случай!

— Ка-ак? Что! Да чтобы я... Да чтобы мне!...

— Господин главный директор, успокойтесь! Нервы — это дамская привилегия. Выпейте воды.

— Нет, позвольте!..

— Не позволяю, господин главный директор.

Этакого еще не бывало. Бартельс не привык к такому тону и от недоумения опешил.

— Вы плохо проштудировали, господин главный директор, наш концессионный договор.

— Не понимаю, при чем здесь договор?

— А вот вы потрудитесь достать его. Ну вот. Вот этот пункт вы прочтите и вдумайтесь в его смысл:

Концессионеры подчиняются всем действующим в пределах Советского Союза законам и узаконениям. Любое нарушение настоящего пункта договора может повлечь за собой расторжение настоящего соглашения.

— Ну, и?..

— Ну, а вот вам книжечка о правах рабочих и их организаций. Я никогда с ней не расстаюсь. Почитайте, господин главный директор, — крайне занимательно.

Пауза.

— Ага!

— Да, господин главный директор, — ага!

Пауза.

— Надеюсь, вы поняли все, господин Бартельс?

— Да! Благодарю вас, Жюль, — вы свободны!

Бартельс крепко сжал протянутую руку. Жюль Мэнн вышел.

— А, черрт! — в негодовании Бартельс заметался из угла в угол.

— Ну ничего!

Главный директор застыл на минутку, затем на цыпочках подошел и запер двери, поплотней задернул занавеси на окнах и остановился в заветном углу.

Окованное медью, запертое сложными замками, висело там сооружение, схожее с иконостасом.

— Сокровища града Китежа даждь нам днесь! — молитвенно прошептал Бартельс и вложил ключик. Мелодично пропели замки. Створки иконостаса раскрылись. На голубом бархате, изъеденный временем и водой, красовался обломок древнего китежского ларца. Бартельс вынул его и, любовно поглаживая, поднес поближе к свету. В углублении, в самом углу обломка, на специальной шелковой подушечке лежал причудливой формы золотой слиток. Он тускло поблескивал жадным желтым цветом. Бартельс сощурил глаза в узенькие щелки.

Исчезла куда-то комната и перед глазами уже не ларец, а длинный, бесконечный коридор и в нем золото. Золото, золото — без конца. Миллионы причудливой формы слитков, — это древние китежские монеты. Они льют призрачный желтый свет. Он ласково греет бартельсово сердце. Ему становится тепло и уверенно. Блаженная улыбка растяги-

вает губы. Рука нежно, нежно, чуть слышно поглаживает и слиток, и обломок ларца.

— Верую, господи! Верую! Но помоги моему неверию!

В молитвенном экстазе, высоко возносясь над всеми обидами и горестями, шепчет умиленно Бартельс. А бесчисленные золотые слитки града Китежа желто и мягко подмигивают ему, бодрят.

Телефонный звонок нарушает идиллию.

Бартельс возвращается на землю. Поспешно кладет он на шелковое ложе монету и в бархатный иконостас обломок ларца. Поют мелодично замки и, спрятав ключ, Бартельс подходит к телефону.

— Алло! Да, это я! Главный директор.

Опять уверенно и бодро движется Бартельс вперед к своей цели, к своим сокровищам. Он тщательно проштудировал концессионный договор и детально ознакомился с интересующими его статьями советского законодательства. Он твердо идет к намеченной цели. Он уверенно и не задумываясь подписывает чеки. О! Он получит на каждый выданный рубль проценты, каких еще не видывал мир!

А когда приходят минуты слабости и одолевают сомнения, — господин главный директор запирается в кабинете и священные реликвии из медного иконостаса снова и снова возвращают ему бодрость и уверенность.

18

Под грохот экскаваторов, тоннами заглатывающих землю, под однообразные и всегда заунывные песни грабарей — уходили дни. Работы росли и ширились. Отводные каналы уползали все дальше от озера. Их чудовищные земляные щупальца все ближе подбирались к реке, которой суждено было выпить воды озера.

В работе никто не заметил, как мелькнула рыжим хвостом осень и ударили первые заморозки. Озеро подерну-

лось ледяной корой. Вчера еще тонкая и хрупкая, — сегодня она уже выдерживает тяжесть человека.

Северные ветры быстро и старательно упрятали сокровища под плотным холодным покровом. Земля звенела под лопатами, как сталь. Экскаватор ломал стальные зубья о зачерствевшие горбушки.

В трех кабинетах три концессионера, со всем пылом, свойственным южанам, придумывали способы не снижать темпа, не приостанавливать работ.

В кабинете № 2 думали с научно-исследовательской точки зрения — но холод, холод! Зима, мороз, русский мороз, — что мог знать о нем французский ученый, даже такой великий, как Оноре Туапрео?

Великий француз поковырял мерзлую землю, определил ее удельный вес, растворил ее сперва в горячей воде, затем в воде, полученной из льда, определил цвет полученной жидкости, попробовал ее на вкус, а затем, перенеся свои изыскания из кабинета на самое озеро, — в спешном порядке отморозил себе оба уха. На этом и закончилась научно-исследовательская часть борьбы с русскими морозами. В дальнейшем ученый на личном опыте убедился в достоинствах русских медиков и, после длительного и тщательного лечения — ему удалось в целости отстоять оба уха. С огорчением Оноре подумал об опрометчивости человеческих суждений и поступков, и с любовью вспомнил о неизвестном вам портном и о славных «дохà», бесславно погибших на таможне.

В кабинете № 1 Жюль, после длительных и безрезультатных совещаний с инженерами, настаивавшими на том, что на зиму работы необходимо приостановить, — решил прибегнуть к «русской народной мудрости», о которой где-то и что-то слышал краем уха. В центре разворачивающихся событий очутился Андрей Непутевый. Он на плохом счету в рабочкоме. Его не любят товарищи за то, что лодырь. Говорят даже о том, что Непутевый нечист на руку. Но пока с поличным не пойман — приходится терпеть в своей среде.

Жюль в «источники мудрости» избрал Непутевого потому, что был тот всегда почтителен, при случае норовил подставить стул, подать что-нибудь, вообще — услужить хозяевам. Да и вид у Непутевого был такой, словно знает он что-то важное и ценное, но только до поры до времени держит это в секрете.

— Вот тут и есть эта самая русская, народная мудрость! — решил Жюль и Андрей Непутевый был приглашен на консультацию по борьбе с русскими морозами в кабинет ведающего технической частью. Длительное совещание закончилось к обоюдному удовольствию. Андрей Непутевый вышел из кабинета, покрасневший от удовольствия и, важно задрав нос, проследовал в бухгалтерию, где и получил солидную сумму, — по всей видимости, гонорар за крупницы мудрости, проданные французу.

В барак Андрей явился в пьяном виде, сильно шумел и бахвалился, а затем скоропалительно исчез навсегда. Дальнейшая судьба его автору неизвестна. Весьма возможно, что Непутевый, учтя запасы имеющейся у него мудрости, решил не зарывать клад в землю, а направился в другие концессионные предприятия и успешно распродает свои неисчерпаемые запасы.

Ну, что грех таить и кокетничать, — говорить о каком-то там авторе и Жюлле Мэнне, когда это лица совершенно тождественные, когда это одно и то же лицо, и когда вы, читатель, прекрасно об этом знаете. Как это говорится по-французски?.. «Назвавшись министром — играй в республику!»¹

Так вот, — я был очень доволен советами Андрея Непутевого и с удовольствием выписал ему вознаграждение. Всю мудрость, по сходной цене закупленную у Андрея, я доложил дорогому учителю и Бартельсу, и (хоть в этом мое утешение!) они вполне ее одобрили.

На дворе свирепел мороз, а снег падал густо и непрерывно, словно наверху необъятных размеров прорвалась

¹ Совершенно непереводаемая пословица, вроде нашего: «Попадши впро-сак — не говори, что дурак!» Прим. переводчика

перина. Медлить было нечего. Я работал, не жалея сил. Дэвид не считался с расходами. И вот, уже на второй день после совещания с Андреем, к месту работ потянулись обозы с дровами. Гигантскими кострами мы заполнили всю площадь работ.

Инженеры потребовали у меня объяснений. Станные люди, — немедленно после того, как я рассказал, в чем дело, — они, словно сговорившись, попросили двухнедельный отпуск.

— Либо отпуск, пока вы не закончите своих мудрых опытов, либо — мы оставляем работу совсем!

Ничего не поделаешь, — пришлось их отпустить. Ну что ж, это и не существенно, план так прост, что мы обойдемся и без них.

Через четыре дня подвезли потребное количество керосина. Сложенные костры облили керосином и затем подожгли...

Ах, какое это было феерическое зрелище! Короткий зимний день мелькнул, — едва заметили его. Небо окрасилось багрянцем зарева костров. Я стоял у дверей конторы и замечтался.

Мне казалось, что я — это не я, а маршал Фош и горят это вовсе не костры, а ненавистные боши, горят Берлин и Вена. Хотя, быть может мне казалось, что я только Нерон и пылает это, увы, только Рим...

Мечты, мечты, — они уходят, как дым догорающих костров...

Ну вот — это и все.

То есть, как это все? Почему все? А что же дальше?

Вы совершенно напрасно протестуете и удивлены, читатель. Это — все и дальше не было ничего. Как это поется в старинном романсе: «Догорели огни и погасли костры»... Так вот и погасли. И мы все, Бартельс, дорогой учитель и я — были очень довольны, что сгорели только костры, — ведь могли сгореть и постройки и машины.

Неужели неясно? Это дорогой (на этот опыт мы ухлопали 8734 рубля и 12 коп), незабываемый Андрей Непутевый посоветовал нам отогреть промерзшую землю. Неизве-

стно, отогрелась ли земля, во всяком случае, наутро она была так же тверда и промерзла, но мы на этом деле нагрелись изрядно. А, впрочем, что за счеты, дорогой читатель, — чтобы доставить тебе удовольствие, я могу истратить больше и еще больше. Вот как у нас, — мы щедрый народ! И разве каждый из вас, дорогие сограждане французы, не заплатил бы столько же, чтобы хоть на минутку, хотя бы в грезах увидеть жарящихся бошей?

Впрочем, жарились вовсе не боши, а наши, концессионные капиталы, но... замнем!¹

Итак, — дальше!

Очевидно, что с русским морозом не в состоянии справиться и «народная мудрость», во всяком случае, мы больше не пытались искать и находить ее.

Снег падал все гуще, мороз крепчал и ветры дули сильней. Через две недели возвратились из отпуска инженеры и работы были переведены на зимнее положение. Работы замерли так же, как и все вокруг. Они притаились, ожидая первых весенних дней и горячего солнца.

Шумный и многолюдный рабочий поселок опустел. С нескрываемым удовольствием Бартельс уволил до весны девять десятых рабочих, на туземном наречии это называлось «сократить штаты». Впрочем, бартельсово удовольствие было изрядно испорчено. Сокращение дало неожиданный результат, — стенгазета стала выходить чаще и во всех номерах неизбежно прохаживались на наш концессионерский счет. У Бартельса совершенно отсутствует чувство юмора. Я еженедельно с удовольствием прочитывал газету и был рад отметить, что и в этом номере не забыли обо мне. Дэвид же положительно страдает печенюю и мизантропией. Он распорядился в срочном порядке прорубить в своем кабинете вторую дверь и пристроить отдельный, изолированный коридор, ведущий в контору и на двор. Все это только для того, чтобы не видеть стенной газеты. Ах, какие иной

¹ Непереводимо: типичное для французской аристократии «mot», означающее приблизительно, — «переменим тему разговора». П р и м. переводчика.

раз странности бывают у капиталистов!

Дорогой учитель, окончательно вылечив уши, углубился в свои научно-кабинетные изыскания. Наученный горьким опытом — он избегал выходить на двор. Увы, — это было неизбежно, минимум три, четыре раза в день. Я видел, как страдает великий ученый от этих неизбежных променадов и однажды привез ему из Рязани купленного в местном кооперативе «генерала». Оноре чрезвычайно растрогался и по рассеянности целовал и меня и посудину.

С этого дня дорогой учитель окончательно засел до весны в своем кабинете. Спал он тут же, на широкой кушетке, под которой и стоял упомянутый чин. Сердобольная уборщица Настя из уважения к сединам ученого соблюдала все в чистоте. Словом, профессор был доволен и спокойно, не опасаясь за свои уши и прочие, при случае обнажаемые части тела, — вел свою углубленную научную работу. Жизнь его текла мирно и спокойно, огражденная стенами кабинета с надписью — «Ведающий научно-экспериментальной частью профессор Оноре Туапрео».

В конце декабря произошло событие, чуть не нарушившее плановость научной работы. Ко мне в кабинет вбежала Настя, покрасневшая и заплаканная.

— Вот вам моя книжка, платите ликвидационные, — не желаю я больше работать!

— Но, Настя...

— Не желаю и не желаю, и больше ничего!

— Но позвольте, что случилось?

— Не желаю и не позволю, и вот и все!

Я был окончательно сбит с толку категоричностью и враждебностью Настиного заявления. Мягко, осторожно и вкрадчиво я начал:

— Вы успокойтесь, Настя, успокойтесь, так ведь невозможно. Давайте все по порядку...

— Не могу я успокоиться, совершенно это невозможно!..

Пауза и слезы. Я в полном недоумении. И вдруг — взрыв.

— По порядку? Какой же это порядок? Где это видано! Французский это какой-то порядок! Что я вам, подневоль-

ная, что ли? Разве мыслимо по три часа держать человека за фартук и рассказывать ему про старушку да про хаос, да еще черт знает про что, про всякую ерунду! У меня скулы с тоски сводит! А он все говорит и говорит. Я хочу уйти, а он не пускает, держит за фартук. И это, говорит, вы понюхайте, и это попробуйте. Это, говорит, космос, хаос! А я нанималась в нюхальщицы да в пробовальщицы, нанималась? А слушать всякие глупости я должна, а? Не могу я больше, не могу, ну, вот и все! Заговорит он меня, заговорит до смерти!..

Настя окончательно потеряла самообладание и заплакала навзрыд. Все было очевидно и понятно. С большим трудом я уговорил Настю по-прежнему соблюдать в кабинетах чистоту и не требовать от нас ликвидационных. Я вынужден был торжественно поклясться, что профессор больше не будет ее заговаривать и заставлять пробовать хаос.

Это была нелегкая задача, но я разрешил ее блестяще. Уже давно заметил я прискорбную страсть дорогого учителя. Он действительно хватал собеседника или просто случайного посетителя за пуговицу, в данном случае за фартук. Я сам, несмотря на молодость, крепкие нервы и глубокое уважение, старательно избегал встреч с дорогим учителем. Это понятно, — великому человеку нужна была аудитория, но помилуйте, с какой же стати я должен быть суррогатом этого недостающего атрибута величия? Уважение мое к дорогому учителю оставалось неизменным, но встреч с ним я избегал.

На этот раз я смело ринулся в кабинет № 2.

— Дорогой Жюль Мэнн, посмотрите внимательно в эту пробирку! Вы видите, здесь клубятся прозрачные газы, — знаете ли вы, что это такое?

— Знаю, — космос! Но не в этом дело, дорогой учитель, — сядьте!

Энергично нажав на плечи, я усадил профессора в кресло.

— Тшшш! Осторожно, дорогой учитель, осторожно, не произносите больше ни слова!

С таинственным видом я запер дверь на ключ и на цыпочках подошел к Оноре.

— Слушайте меня внимательно. Мне только что стало известно — каким путем, не спрашивайте, — это тайна, мне стало известно, что наша Настя не кто иной, как научный шпион! Во-первых, да будет вам известно, что она — немка! Во-вторых — она не уборщица, а научный сотрудник профессора Майера! Да, да! Того самого Майера, вашего заклятого врага! Он подослал ее к вам, чтобы выведать все ваши открытия. И, в спешном порядке опубликовав их, — выдать за свои! Да, да! Это так, увы, дорогой учитель, — это так. Будьте осторожны! Пятнадцать минут тому назад она отправила в Берлин шифрованную телеграмму! Два дня тому назад она...

Я остановился. Лекарство оказалось радикальным и сильнодействующим. Дорогой учитель смотрел на меня глазами, полными ужаса, а по старческим щекам катились мутные слезы.

— Но успокойтесь, дорогой учитель, еще ничто не потеряно. Она не успела узнать ничего существенного! Но теперь держите ухо востро. Уволить ее невозможно и вообще не нужно ничего предпринимать. Если ей нравится быть уборщицей — пусть убирает. А вы помалкивайте.

— Дитя мое, а то, что я рассказывал ей о первичном хаосе, о том, что космическая пыль в мировых вихрях вращения...

Дрожащей рукою учитель схватил меня за нижнюю пуговицу пиджака.

Ледяная дрожь потрясла меня. Ловким движением высвободив пуговицу, я еще раз успокоил профессора и выскочил в спасительный коридор. Приник ухом к дверям. Профессор всхлипывал. Бедный старик, — мне было жалко его. Я уже взялся за ручку двери, но глянул на пуговицу и вовремя остановился...

— ...и вот вы видите, что космическая пыль, если можно так выразиться, отцентрофугировалась... — доносился из-за стены дребезжащий голос гениального старца.

В январе, будучи по делам в Рязани, я нашел для ученого самого подходящего слушателя. С трудом, при помощи переводчиков, мы столковались с ним о его вознаграждении и обязанностях. Искренне желая порадовать дорогого учителя, я привез Федора Колодуба в наш поселок. Я отрекомендовал его, как молодого русского ученого, который слышал о ценных работах Оноре Туапрео и жаждет быть его покорным и молчаливым учеником, жаждет услышать те крупницы мудрости, которые Оноре Туапрео соизволит бросить ему от своих щедрот.

Все устроилось великолепно. До самой весны, до первого тепла, ежедневно по 8-10 часов Федор Колодуб добросовестно выслушивал дорогого учителя, пробовал из разных пробирок «на вкус», смотрел их на свет, словом, был покорным и молчаливым «восхищенным учеником».

Но только повеяли первые весенние ветры и пригрело солнышко, как Федор Колодуб таинственно и бесследно исчез, даже не получив причитавшееся ему за последние полмесяца жалованье. После этого его уже никогда не встречали в Рязани.

Через две недели, когда уже возобновились и пошли полным темпом работы, я получил от Колодуба письмо, все покрытое многочисленными штемпелями. Начиналось оно так:

«Вы думаете, что ежели я от рожденья обижен, что ежели я глухонемой, так надо мной можно издеваться?...»

Ах, но до писем ли мне было, когда каждый уходящий день приближал меня к неисчислимому богатству, когда каждый день приближал меня к моей далекой и любимой Клэр! Я так и не дочитал письма Федора Колодуба, да простит он мне это!

19

Зима была на исходе и еще холодное, но уже весеннее солнце бодрило нас и напоминало о далекой, прекрасной нашей родине. Ах, скоро, уже скоро!

И я, и дорогой учитель, и даже хладнокровный Бартельс извелись за эту бесконечную, лютую русскую зиму. Мы устали от жестоких морозов, от тяжелых шуб и неудобных валенок, а главное, от томительного ожидания вожделенной минуты, когда русские сокровища града Китежа переменят свою национальность и станут французскими.

Я ежедневно писал нежные и пространные письма несравненной Клэр, но, увы, ни разу не получал ответа. Сердце мое болезненно ныло и где-то шевелился червячок ревности. В мои годы очень тяжело жить без женской ласки, без любви, а заведение тетушки Котиньоль так же далеко, как и моя несравненная родина.

Любовь! Увы, русские женщины не понимают этого слова, либо понимают его не так, как мы, французы.

Вот я закрываю глаза и вижу: Катюша Ветрова. Не правда ли, это звучит довольно поэтично и очаровательно — Катюша Ветрова? Ей девятнадцать лет, у нее громадные серые глаза и длинные русые косы. Но — *fi donc* — она ходит в высоких сапогах и кожаной куртке. Она курит скверные папиросы и не знает духов и пудры. И потом, пожалуй, это самое главное, — она работает! Да, да, — работает самым настоящим образом! Работает по 12-16 часов в сутки! Подумать только: девятнадцать лет, большие серые глаза, русые косы, очаровательное личико, и вдруг — сапоги, куртка, папиросы, тяжелая работа.

Давайте на минутку вместе зажмурим глаза и представим ее в другом, более подходящем оформлении. Замшевая туфелька и высокий прозрачный чулок...

Впрочем, нет, нет! Не надо, это опасно, мне нельзя, да я и не хочу забывать, что существует и ждет меня с победой Клэр!

О Клэр, слышишь ли?

А Катюша Ветрова... работает. Она секретарь нашего рабочкома.

«Вы, — говорит, — господин Жюль, наш классовый враг и я прошу вас всегда об этом помнить!»

Ну что ж, мне действительно ничего не остается, как помнить. Я помню это и помню то, что я в России.

О, милая родина, если бы под твоим кровом я услышал из уст хорошенькой женщины такое заявление, — я поцеловал бы ее. Но здесь... здесь это невозможно. В России все как-то по своему, по особенному, непонятному. У нас женщина — подруга или любовница, у них — товарищ или враг! Д-да...

Ну вот, я и чувствую, что действительно Катюша Ветрова — мой враг, но все же меня тянет в рабочком. Вот даже смешно, но я, классовый враг, купил на сто рублей каких-то выигрышных облигаций только потому, что мне предложила их Катюша.

О боже, эта бесконечная, но, к счастью, уже кончающаяся русская зима — вконец расстроила мои нервы и я стал сентиментален до неприличия.

Я вынимаю эти ненужные мне бумажки, эти облигации, и в их шорохе слышу шелест Катюшиных кос, вижу серость Катюшиных глаз, улавливаю движение губ:

— Враг! Вы — классовый враг!

— Нет! Достаточно! Я беру себя в руки! По этим облигациям я безусловно проиграл. Скомкаем их вот так и забросим в угол ящика, подальше, туда, где валяется всяческий ненужный хлам. Довольно! *A la guerre, comme à la guerre!* — и никаких сантиментов. Тем более, что весеннее солнце уже прогревает сквозь стекла, уже печатает наши, концессионные, безусловно выигрышные облигации, с кругленьким выигрышем — сокровища града Китежа!

Я встаю, захожу на полчаса к Бартельсу и потом, вероятно, в последний раз, на русских саночках еду в Рязань. Нужны новые рабочие, нужны новые машины, — через неделю мы развертываем работы.

.

В котле кипела кипень работ. Клейкие листья на деревьях вздрагивали от грохота экскаваторов. Жирная земля разъезжалась под лапами трактора, но пятитонные площадки, груженные вынудой породой, вдавливали, утрамбовы-

вали ее. Задорно и весело пыхтел паровичок и его визгливый голос удивлял окрестную пичугу, по привычке в изоляции слетевшуюся к озеру.

Весна, весна! Урра, господа французы, урра, господа классовые враги — весна!

Наш поселок зашевелился. Крутлые сутки снуют по различным своим деловым направлениям люди. О, черт побери, мы с Бартельсом и дорогим учителем сумели образцово наладить работы и наше умение нещадно подхлестывалось все нарастающим нетерпением.

Дни листались, как страницы в блокноте впавшего в ажриотаж биржевика. Мы их не замечали, мы просто подхлестывали время. Мы подхлестывали и людей, — мы увеличивали расценки работ, мы не жалели туземной валюты — червонцев, хотя платили за них твердым американским долларом... Бартельс держал себя геройски и не морщился ни от каких сумм, ни от какого количества нулей с правой стороны впереди стоящей цифры! Хо-хо! Француз храбр, — это давно известно миру. Известно также миру, что щедр банкир, знающий процент, который принесет ему очередная спекуляция. А наши проценты росли с каждым днем, с каждым часом, с каждым глотком экскаватора, с каждым взмахом лопаты.

Ах, какое это было изумительное, бодрое и радостное время! Мы не чувствовали усталости и не позволяли ее чувствовать другим. Даже ужасные русские блины, традиционное азиатское кушанье, подаваемое в дни весеннего русского карнавала, масленицы, — даже блины, это варварское блюдо, прямое средство к завороту кишок не только у француза, но даже у верблюда, даже блины, от которых мы, увы, не смогли отказаться, — не сумели нарушить темпа наших работ.

Мы вынуждены были есть эти ужасные блины, чтобы не обидеть инженеров, пригласивших нас. Мы ели с отвращением и ужасом это горячее, полусырое тесто. Мы творили молитвы и ели, но все-таки наутро мы были на своих местах. Французский бог защитил субтильные французские желудки от нашествия русских тест, и заворот кишок

— нас миновал. Всю ночь, до утра, мы клали грелки на живот. Мы принимали слабительное и рвотное, мы измучились, мы исстрадались, но утром мы были на местах. О, не смейтесь, господа, русские блины — это слишком тяжелое блюдо для французских желудков. Предостерегаю вас, сограждане, — бойтесь русских блинов, это опасно, а нередко — смертельно!

Но к черту, к черту блины, — они позади и мы опять настойчиво и упорно идем вперед с каждым взмахом врезающейся в землю лопаты, с каждым выкриком нашего очаровательно-миниатюрного паровика, — «кукушки» на туземном наречии.

О дни, солнечные, бодрые, радостные дни, — они прошли в упорной борьбе за сокровища, о которых позабыл мир, но вспомнил гениальный мозг дорогого учителя, славного Оноре Туапрео.

20

И вот, наконец, жарким солнцем упал на землю июнь. И вот, наконец, наступил вожделенный, долгожданный день.

В это утро солнце встало над землею неслышное и ласковое.

Оно в последний раз окунулось в воды озера Гнилого и с удивлением заметило нас. Мы, — я, дорогой учитель и Дэвид Бартельс — всю ночь не смыкали глаз. Мы говорили о совершенно посторонних вещах, мы вспоминали родину, мы всеми силами старались показать друг другу, что мы не волнуемся.

Так бывает в игорных залах. Холодный и равнодушный голос прозвучит:

— Господа, делайте вашу игру!..

— Игра сделана!

У рулеточного стола люди, сделавшие игру, бешено волнуются, но изо всех сил стараются не показать этого друг другу.

Наша игра была сделана. Мы стояли, мы ходили по краям нашей рулетки, мы смотрелись в спокойные воды озера и мы «делали свое равнодушие». Ха! Оно плохо нам удавалось. И чем выше подымалось солнце — тем хуже мы изображали спокойствие уверенных буржуа.

К черту! В это утро мы не были буржуа, — мы были просто азартными игроками, с напряжением следящими за мечущимся шариком рулетки.

— Хватит! Я больше не могу!

Кто-то из нас сказал это, быть может, это сказали мы все.

Сбросив личину равнодушия, рысью пустились мы к отводным каналам, хотя знали, что там все по-прежнему, так же, как было вчера. Только в назначенный нами же час, в торжественной обстановке, пироксилиновые шашки взорвут последние преграды — и тогда вода из озера ринется в каналы. И тогда — все ближе и ближе будут сокровища. С умопомрачительной быстротой будут расти наши проценты. Заколеблется заветный шарик, метнется вправо, влево и наконец остановится на заветном «зеро!» Зеро — ха-ха! ЗЕРО! Выигрыш банкометов! Наш выигрыш!

— Господа, игра сделана, ставок больше нет!

Мы знали это. Мы верили, что будет так. И все же — позабыв концессионерское достоинство, галопом мчались мы по изрытому, изуродованному берегу. Ноги спотыкались и разъезжались, солнце — отраженное в воде и настоящее — слепило глаза, а мы мчались к каналам.

Впереди я. За мной Бартельс. И позади, с развевающимися по ветру сединами, наш гениальный капитан, наш дорогой учитель. Он ослабел за зиму, он устал, он постарел, — но все же он не останавливался, он также мчался. Так в отдаленные времена наши храбрые предки ходили воевать неведомые земли в таинственных азиатских странах. Они всегда возвращались с победой. Так идем мы и также вернемся с победой.

Но что это? Еще вчера этого не было!

В недоумении — мы остановились. Румяные и здоровенные плотники весело постукивали топориками. Гвозди

смачно въедались в белое сочное дерево, вырастало нелепое тесовое сооружение, — не то эшафот, не то основание голубятни.

— Что и зачем вы строите?

— Как что? Ведь сегодня торжество. Ну вот, — для митинга трибуна!

Мы переглянулись.

— Торжество? Какое? Для кого?

— Ну вот тебе, хозяйева, — какое? Всенародное, конечно! Сегодня году будем стонать. Гнилому озеру — каюк! Болота повысохнут, — земля будет... Ну, словом, сами понимаете, — народный праздник нынче. Вот и трибуна, митинг, значит. Товарищ Ветрова еще вчера распоряжение дали.

Мы вновь переглянулись — и все стало понятно. Первым попятился дорогой учитель, зажимая ладонью рот. За ним на своих коротышках отступал Бартельс. Я замыкал шествие, оглядываясь на плотников. А плотники опять весело застучали топорами, звонко цокая по гвоздям.

В веселом, радостном молчании мы добежали до кустов и повалились на траву.

— Хо-хо-хо!

— Хи-хи-хи!

— Ха-ха-ха!

Еще ни разу в жизни никто из нас так весело не смеялся.

— Ха-ха! Веселые китайцы, как говорят у нас на родине! Торжество? Им — всенародное торжество, а нам — сокровища града Китежа! Ух! Ну и ослы же! Всенародное торжество! Вот это здорово!

Мы валялись в мягкой траве и смаковали этот неожиданный анекдот.

Солнце пригревало жарче. Мы смеялись слишком много. Мы обсосали веселый казус со всех сторон. Разговор рассыхался, как опустевшая бочка на солнце. Язык ворочался во рту неохотно и медленно. Солнце старательно жарило. По верхам кустов шелестели ветры. Веки смыкались и перед глазами радужными золотыми слитками плясали сокровища града Китежа. Мы уснули.

— Тррам — там — там!..

Сон ушел внезапно, так же, как и пришел.

— Что это? Вы слышите, Бартельс? Оркестр?

— Ничего не понимаю! Кажется, оркестр.

Недоумевая, мы прикрыли глаза ладонями и вгляделись.

Солнце играло с медью оркестра и звуки оркестра играли с солнцем. Красные знамена и плакаты цвели над толпой рабочих, как протуберанцы. Море людских голов заливало плато у каналов. Человечьи волны захлестывали трибуну и над обнаженными головами она, белая, свежесосновая, плыла к каким-то далеким, неведомым берегам.

— Не кажется ли вам, Бартельс, что это слишком любезно с их стороны? Ведь, в конце концов, — это наш праздник, а не их!

— Ну что ж, если это им доставляет удовольствие... Но взгляните повнимательнее, — их чересчур много, здесь есть посторонние.

— Да, вы правы, — это крестьяне. И значительно больше, чем наших рабочих.

— Мм-да, — странно и непонятно.

— Дорогой учитель, быть может, вы нам объясните, чем вызвано такое многолюдное и торжественное сборище?

— Да, я постараюсь. Я в последние дни как раз уделял много времени изучению древних русских обычаев и, если мне позволено будет так сказать, — неписаных законов. Так вот: во времена язычества славяне, в том числе и русские, — обожествляли труд. Всякое дело, требовавшее коллективного труда, труда двух или больше особей, — они начинали и кончали празднеством. С музыкой, танцами и песнями. Во времена христианства — обычай этот отмер. Вернее, переродился. Всякое дело начинали и кончали молитвой. А теперь, когда большевики, так сказать, упразднили религию, — мы наблюдаем возврат к языческим обычаям. Всякий труд, в особенности коллективный, они начинают и кончают торжественными сборищами с пением и музыкой.

Исчерпывающее объяснение дорогого учителя было безупречно и мы выслушали его с удовольствием. Мы на минутку затихли и, стоя неподвижно, прислушивались к говору толпы, доносившемуся даже сквозь звуки оркестра. Внезапно нам взгрустнулось. Бывает вдруг такая коллективная грусть. Я не знаю, чем ее объяснить. Быть может, мы жалели великий русский народ, под влиянием варварского большевизма вновь возвратившийся к древним, языческим обычаям.

Молчание нарушил Бартельс:

— Ну что ж, господа, нам надо идти. Вероятно, нас там ждут.

Он посмотрел на часы.

— Да и потом, уже скоро пуск воды.

Пауза, и потом пророчески торжественные слова дорогого учителя:

— Да! Скоро торжество пуска воды!

Опять пауза. Бартельс нервничает и теребит галстук.

— Ну, — пошли! — решительно нарушает он молчание.

Оноре Туапрео с необычайно торжественным видом снимает шляпу. Ветер, словно только и ждал этого, подхватил его седины. Мы невольно поддаемся настроению, охватившему дорогого учителя, и тоже обнажаем головы.

— Дети мои! По древнему христианскому обычаю, перед тем, как пуститься в странствие — присядем!

Торжественные звуки оркестра у трибуны подчеркнули слова почтенного старца. Мы опустились на скалы. Присели.

— Через час или полтора, с потоками воды, которая хлынет в каналы, — мы отправимся в страну славного града Китежа! Нас ожидает там... Там ожидает нас...

Сердце гениального старика не выдержало — и он заплакал. Да это и не удивительно, — ведь близилось свершение его непревзойденного замысла. Как могли, как умели — мы утешили его.

Оркестр смолк, а на плывущей по людскому морю трибуне появились потешно маленькие отсюда фигурки людей. Одна из них резко и четко размахивала руками, слов-

но пригоршнями сыпала в застывшую толпу слова.

— Ну, пора, пора! Идемте!

Бартельс был энергичен и мы тронулись.

Странные люди, странные речи, странный, незабываемый день!

Мы пробрались к самой трибуне. Молча и сурово расступались перед нами люди и мы внезапно почувствовали себя нехорошо. Неприятно как-то, знаете ли. Ну вот, словно мы, невооруженные и беззащитные, попали в стан врагов. Правда — они расступаются перед нами, они молчат, но кажется, что все это до какого-то известного предела. А наступит момент — и эти молчаливые люди втопчут нас в землю, раздавят, оставят одно мокрое место и дурную память. В общем, неприятное чувство, — даже мурашки поползли по спине. Я вспомнил слова Катюши Ветровой:

— Вы, господин Жюль, наш классовый враг и я вас прошу всегда об этом помнить!

В эту минуту я понял, что девятнадцатилетняя Катюша может говорить серьезные и страшные вещи.

Так мы, молча, с мурашками на спине, со страхом или с трепетом — шли. Мы благополучно добрались до трибуны. Катюша заметила нас. Она выразительно показала рукой, приглашая на трибуну,

— Жюль! — внезапно схватил меня за руку порядком перепуганный Бартельс:

— Мы не полезем туда, — вы слышите, мы не полезем!

Я подумал: не следует отказываться, если тебя приглашает классовый враг. И потом, вообще было поздно отступать, — наш дорогой учитель цепко ухватился за чью-то протянутую руку и был уже на трибуне. Бартельс от перепуга проявил необычайную прыть и взобрался туда же без посторонней помощи. Я завершил наше позорное восшествие. Тут началась наша голгофа.

Прежде всего громынул горластой медью оркестр и звуки «Интернационала» в течение двух минут дубасили нас по башкам. От негодования, а может быть, от страха — Бартельса бросило в пот. Красный и мокрый, он растерянно озирался по сторонам. Мне тоже было не по себе. И толь-

ко Оноре Туапрео, по-видимому, чувствовал себя хорошо. Он стоял у барьера, делал ручкой и кланялся во все стороны. Совсем так, словно вся эта толпа собралась сюда, чтобы устроить овацию его несомненному гению.

Но вот оркестр, наконец, умолк. Оноре по-прежнему орудовал ручкой и раскланивался. Катюша коротко и неслышно сказала ему что-то и дорогой учитель, в последний раз взмахнув — прекратил свои физкультурные движения и застыл в «достойной неподвижности».

— Товарищи! — далеко и звонко разлетался голос Ветровой. Она начала речь. Очевидно, я совсем неважно чувствовал себя, потому что никак не могу восстановить полностью смысла того, о чем говорил мой классовый враг. Помню только, что нам, концессионерам, «перепало на орехи» на каждом десятом слове. И если в начале речи, по-видимому, сдерживаясь, Ветрова называла нас концессионерами и иностранным капиталом, то под конец — она просто ругала нас. Мы оказались махровыми представителями проклятой мировой буржуазии, которую в недалеком будущем пролетариат сметет с лица земли. Мне становилось все больше не по себе и я уже почти ничего не сообщал. Глаза мои искали поддержки у Бартельса, но тот, забившись в дальний угол трибуны, выглядывал оттуда безнадежно, как затравленный волк.

Катюша все азартней выкрикивала свою ужасную, зажигательную и подстрекательскую речь. Я, конечно, не думал о мировой буржуазии и меня мало беспокоил ее грядущий конец, но мне казалось, что многоголовое чудовище, стоящее под трибуной, сагитированное Катей, — вот сейчас, сию минуту, а не в недалеком будущем набросится на нас и действительно сотрет с лица земли! От ужаса мне почудилось, будто все они, эти люди, узнали нашу тайну о сокровищах, разгневаны тем, что мы хотели присвоить эти сокровища, — и сейчас выльют свой гнев и месть на наши растерзанные трупы. И когда на страшно высокой ноте Катюша выкрикнула свой последний призыв:

— Да здравствует мировая революция! — грянул гром, обрушилось небо и я, от ужаса поминая всех святых и по-

койных своих родителей, закрыл глаза в свой смертный час. А надо мной грохотало. Мучительные секунды тянулись бесконечно и я уже молил творца, чтобы эти разъяренные люди скорей прикончили меня.

Но грохот утих и на смену Катюше другой оратор начал речь.

Слава Аллаху, это был не наш смертный час, — это были аплодисменты. Я оглянулся. Безнадежной тряпкой свесившись через перила — Бартельс был неподвижен. Я пробрался к нему как раз вовремя. Еще минута, и его тело полетело бы вниз. Я схватил его и удержал. С тоской оглянулся я, но к счастью, на нас никто не обращал внимания.

— Бартельс! Бартельс! — шипел я на ухо бездыханному буржуа, но он был недвижим. Беззастенчиво и энергично я ущипнул его. Вздрыгнули веки и посиневшие губы чуть слышно проговорили на родном языке:

— Убейте! Скорее убейте! Не мучьте!

— Да очнитесь же, вы, лысый осел!

Это подействовало. Бартельс пришел в себя и осознал, что он еще на этом свете. Первым его движением было — удрать. Удрать с этой проклятой трибуны, с этого ужасного митинга. Но я удержал его. Понемногу мы совсем пришли в себя, и я даже начал улавливать смысл произносимой речи. Это было нечто совсем странное и непонятное.

Оратор говорил о тысячах десятин земли, которую мы осушим и которая уже будущей весной будет запахана. Он говорил о расцвете сельского хозяйства в округе бывшего озера Гнилого, о том, что великий французский ученый Оноре Туапрео, несмотря на свое гнусное буржуазное происхождение, все же льет воду на мельницу социализма. Что все мы трое, иностранные капиталисты, помимо своей воли, из-за своих сегодняшних барышей помогаем им, большевикам, строить социализм. И все в таком же роде, малопонятное нам и смешное. Мы приободрились. Бартельс лукаво подмигнул мне и весело похлопал вынутым бумажником. Я понял, — в бумажнике хранится наш концессионный договор.

— Вы правы, дорогой патрон, вы правы, как всегда! Им — социализм, а нам — сокровища града Китежа!

Мы только улыбнулись, хотя нам очень хотелось рассмеяться.

Оратор окончил речь.

— Да здравствует наука, помогающая нам!

Гром аплодисментов, крики — «Ура!» — и оркестр.

Дорогой учитель, чувствуя себя именинником — возобновил свои гимнастические экзерсисы. В ход были пущены и голова, и ручка.

В это время дико и протяжно взвыл наш паровичок. Это был сигнал. Митинг окончился. Как белая пена прибора, застыла опустевшая трибуна. Люди расползлись, занимая места поудобней, поближе к каналам. Мы, во главе с дорогим учителем, поспешили на контрольную площадку. Главный инженер встретил нас, потирая руки.

— Через три минуты, господа концессионеры — вода хлынет!

Мы, словно по команде, вынули часы. Стрелки, усугубляя наше волнение, — цеплялись за каждую секунду. Но вот еще минута! Двадцать секунд! Пять! Три!

Ббаббуах! — взревела земля, раздираемая в клочья динамитом.

Еще! Еще! Взрывы следовали один за другим! Грохот мешался с восторженным ревом толпы. Кажется, все кричали «Ура!» Кричал наш главный инженер. Эх, да что таить, — я сам, и Бартельс, и дорогой учитель дико и иступленно кричали это самое русское «ура!». От восторга мы прыгали и не знали, что делать.

Освобожденная вода, разрушив последние преграды, заглушая последние, запоздавшие взрывы, с диким ревом вырвавшейся на волю стихии заливала каналы все дальше, спешила все вперед, вперед!

Тысяча восторженных глаз следили, как черные щупальца каналов покрывались надвигающимся серебром воды. И вот уже даже восторженный глаз не мог уследить неудержимого бега серебряного покрова. Там, далеко впе-

реди, она, эта серебряная вода, — вольется в речушку и сделает ее полноводной и шумной.

Вода бурлила и рвалась в каналы неудержимо, безостановочно, разъяренно. Грохот водяного зверя не утихал, и наши концессионерские сердца вторили ему трепетным биением и сладким замираньем.

Время летело быстрее воды и мало-помалу люди, пришедшие отпраздновать победу упорного и долгого труда — разошлись. Пожав нам руки, ушел и главный инженер. Он ушел отдыхать, проделав большую и сложную работу. А мы все стояли и очарованными глазами смотрели па рвущуюся в каналы воду.

Мы все стояли... Нет, что я говорю, — мы не стояли! Мы так же стремительно, как вода, быстрее воды — мчались, нет, — неслись, летели в обетованную страну града Китежа!

Неслышными шагами пробралось солнце на ночлег. На небо, как солью, густо усыпанное звездами, поднялась луна и в ночной тишине рев уходящей воды звучал громче и величественней. Усталые и счастливые, мы молча сидели и следили неугомонный бег.

Летняя ночь подмигнула звездами и улыбнулась зарей. Заря умылась росой и мы, слегка продрогнув от утреннего холодка, ушли на отдых. Но сон наш был тревожен и краток.

И весь этот день мы ни о чем не могли говорить, ничего не могли делать.

Словно заклятые неведомой силой, мы неустанно бродили по берегу и, как лучшую музыку, с наслаждением слушали рев воды. Мы делали отметки на скалах и, возвращаясь к ним каждый час, долго спорили и пререкались — заметна убыль воды или не заметна.

И опять ночь прошла в безмолвном бдении над убывающей водой.

Четыре дня! Четыре самых счастливых дня в нашей совместной жизни — умчались в прошлое под неумный рев воды.

Над нами опрокинулась такая же, как и предыдущие, глубокая, звездная ночь. Желтая и большая луна хитро и

понимающе подмигивала нам.

Мы извелись за эти дни от волнения, оттого что мало спали и плохо ели. Но все же блаженное наше состояние даже теперь я вспоминаю с удовольствием. Вероятно, так чувствовал бы себя последний бедняк, если бы удалось убедить его, что вот через день, два, неделю — он выиграет сто тысяч!

Разговаривали мы мало. Да и о чем было говорить, — все понятно, все ясно. Вот мы сидим, свесив ноги с обрыва, над нами ласковое небо и сочувствующая луна, под нами — воды озера, все убывающие, падающие все ниже и ниже. А там, под этими водами... наши мечты. Да нет, какие мечты — там наши сокровища!

Вода сердится за то, что отнимаем мы ее сокровенную тайну. Уступая нам, она ревет разгневанным зверем вот уже четвертые сутки. Но ее рев нам только сладостен. За эти дни и ночи мы уже привыкли к нему и вот сейчас — нас незаметно клонит ко сну.

Белая голова Оноре падает на мое плечо, я опираюсь разгоряченным лбом о скалу и сквозь одолевающую дрему — вижу блаженную физиономию Бартельса, умильно прильнувшую к плечу дорогого учителя.

Ночь. Луна. Рев воды. Сладостное биенье сердца.

А-ах, как хорошо!..

.

Мы проснулись внезапно. Свежий ветер приятно хлестал в лицо и ерошил волосы. Ночь была черна — ни звезд, ни луны. Нас поразило что-то еще не осознанное, случившееся внезапно. Мы встревожились, нам чего-то не хватало.

— Это вы, Жюль?

— Да, Бартельс, а Оноре?

— Я здесь! Ш-ш-ш! Да, несомненно!

Над нами, над озером, вокруг — царила тишина.

Тишина!

Как ужаленные, вскочили мы и ринулись к озеру. Впотьмах мы спотыкались, падали, но, упорно подымаясь, — опять бежали вперед.

Вот, наконец! Тиш-ше! Подождите!

Чуть слышно и нежно влево у каналов журчала вода.

— Вы понимаете, господа?.. — взволнованно, дрожащим голосом начал Оноре.

— Да, да, — я все понимаю! — резко перебил Бартельс.

— Все понятно, понятно, — за мною!

Мы двинулись в потемках. Хлюпнула вода под сапогами, — ноге стало тепло и мокро. Вода дошла до щиколоток, поднялась немного выше. Мы остановились. Бешено бились наши сердца. Казалось, грохочут они громче самых громокипящих вод. Кто-то прошипел:

— Да тише же!

Мы задержали дыханье. Зажмурив глаза, мы ступили еще на шаг вперед.

Вода не поднялась выше. С опаской, но уже осмелев — мы сделали два шага. Еще три! Десять! Наконец, мы поняли все и от восторга упали — друг другу в объятия и в воду. Она была тепла и ласкова. Потревоженный ногами ил щедро благоухал аммиаком, — но лучшего аромата мы не обоняли в своей жизни. Ведь это был запах сокровищ, наших сокровищ!

В восторге, в последнем восторге — мы барахтались в вонючей кашнице, мы целовали ее и друг друга, мы шепотом, но на весь мир, кричали победное и радостное — «Ура!»

А ночь была черна и непроглядна, и все так же ласково, где-то у каналов, еле слышно, журчала вода.

Наконец наши восторги немного остыли и мы, не подымаясь из воды, тут же на месте устроили деловое совещание. После кратких, но ожесточенных дебатов решено было, что на поиски мы пойдем все вместе, рядышком, рука об руку. Что говорить, — мы не верили друг другу и каждый из нас боялся, что сосед прикарманит себе некую толику общих сокровищ.

Итак, мы поднялись и вместе пустились в поиски. Счет времени мы потеряли. Ночь была нашим покровом. Мы

спотыкались и падали, но упорно бродили из конца в конец озера и ощупывали каждый бугорок, каждый камешек, каждое возвышение и неровность дна. Уже заалело на востоке небо, когда счастье улыбнулось нам.

Мы застыли. Мы присели.

— Здесь!

— Вот!

— Тут!

— Есть!

Несвязные, отрывистые слова. Лихорадочные движения. Мы рвали руками обретенные сокровища, мы поскорее хотели унести их и спрятать от завистливых людских глаз. Но, глубоко засосанные илистым дном, они не поддавались.

— Лопату!

— Топор! Орудие!

— Лом!

Самый молодой и быстрый — я ринулся к конторе. Все проделано ловко, быстро, бесшумно. Я с лопатой, ломом и топором.

Свет с востока все быстрее и быстрее разливался по утреннему небу и мы лихорадочно спешили. Чудеса силы и ловкости проявил наш дорогой учитель. Он орудовал ломом, словно была это легкая тросточка.

О боже, ты всегда даешь силы на подвиг!

Наконец мы вырвали эти, несомненно наши по праву, сокровища у жадной, засосавшей их земли. О, они были тяжелы и массивны! Тут нужен был, по меньшей мере, десяток людей. Но на что не способен человеческий дух! Мы трое, да, только мы трое, в три приема дотащили наши сокровища до кабинета Бартельса.

Солнце уже пылало над лужицей, оставшейся от озера, и уже где-то был слышен человеческий голос. Но теперь это нам было не страшно. Контора была крепко заперта на все запоры. Тяжелыми шторами и ставнями закрыты все окна. Наконец-то мы наедине с нашими сокровищами!

Но даже человеческой воле положены пределы. Пережитые волнения и усилия выпотрошили нас и, обессиленные, мы опустили на пол рядом с нашими сокровищами.

Грязь и зловонная жижа расплзались мутными потоками по полу. Мы любовно прильнули к обретенному сокровищу и нашим усталым, измученным телам было оно мягче самых нежных пуховиков.

Мгновенья отдыха отсчитывались ударами сердец.

Бартельс не выдержал:

— Друзья, друзья, — я не могу больше!

Он разрыдался и, рыдая, улыбался нам блаженно и счастливо.

Да, мы все можем сказать, что в этот миг, в этот незабываемый миг мы видели счастливые, подлинно счастливые лица. Эти счастливицы — мы!

— Друзья, я не могу больше!

С этими словами Бартельс яростно набросился на сокровища и начал отдиравать от них грязь, ил, землю. Мы с дорогим учителем не замедлили присоединиться. Вдохновение овладело нашими сердцами и руками. Из глоток рвалось удовлетворенное и радостное урчанье. Так урчит зверь, празднуя победу и упиваясь кровью врага.

Мы не щадили себя. Руки сочились кровью, но мы упорно отчищали от вековой грязи наши сокровища. Мы жаждали увидеть их цвет, ощупать их руками, попробовать на вкус.

И вот, наконец, — твердое, упорное, не поддающееся расцарапанным в кровь пальцам. Со священным трепетом мы счищали последние следы грязи и ила.

— Дерево!

— Дерево?

— Дерево?

— Это ларец! — вдохновенно сказал кто-то.

.

21

Кто может вспомнить, как прошел этот день?

Вероятно, никто из нас не сможет, да и не захочет вспоминать. Мучительный, бесконечный — он, слава богу, прошел.

Когда погасли в лагере последние огни, когда отзвучала последняя, запоздалая песня, — мы вышли на крыльцо. Призрачными и ненастоящими казались лагерные сооружения в неверном свете луны. Темным провалом зияла колыбель бывшего Гнилого озера, бывшая могила града Китежа. Пьяными ароматами дышали болотные травы и в любовном томлении исходила песней полуночная пичуга.

Для лирических вздохов, для поэтических мечтаний все было налицо, но лицо-то и отсутствовало. Мы не вздыхали, мы не предавались мечтам. Минуту мы прислушивались. Убедились, что все необходимое (ночь, призрачный свет и уснувший лагерь) — в наличии. Легкой тенью я скользнул к гаражу и вывел машину. С потушенными фонарями, недвижимая — она казалась стальным и каучуковым мертвецом. Быстро и бесшумно улеглись один на другой чемоданы с нашими сокровищами. Мы потеснились, уступая им место.

Нажим рычага, поворот рулевого колеса, — мертвец ожил, зафыркал, запыхтел, дрогнул — и побежал навстречу ночи.

Мы молчали и слушали машину.

Мелькнул неясный силуэт подъемного крана, беззубые, застывшие в воздухе пасти землечерпалки, еще что-то, неясное, но знакомое.

Поворот — и место наших побед и поражений, такое знакомое и уже обжитое, скрылось от нас навсегда.

Полный ход! Машина вздрогнула, как лошадь от нагайки, и рванулась вперед. Она подпрыгивала на ухабах, мы — на сиденье. Я включил свет.

Ровными полосами помчался он впереди машины, хватывая из ночи причудливые выбоины дороги.

Ночь мчалась впереди, ночь догоняла за спиной. Мы сторожко слушали ее и думали о своем.

Но что это?

Нет, это не наш верный «паккард»! Это какой-то посторонний, подозрительный звук.

Стоп!

Наш верный конь фыркнул и застыл, слегка вздрагивая. Я повернул выключатель и его светлый взгляд потух. Мы прислушались.

Да! Несомненно! Со стороны лагеря доносятся какие-то ритмические, нарастающие, приближающиеся звуки.

Минуточку! Не дышите! Да тише же, не шелестите страницей!

Ну, так и есть, — несомненно, это пыхтит наша вторая машина!

Мы взялись за руки и замкнутое кольцо обежало крепкое пожатие.

Увы! Нет никаких сомнений! И никто из нас не высказал предположение, что машина просто соскучилась и по своей доброй воле пустилась вдогонку за нами.

— Погоня! — сказал или подумал кто-то.

Промедление смерти подобно! Погоня! Рычаг! Еще рычаг! Предельная скорость.

Пусть дрожит и готово лопнуть стальное паккардово сердце. Вперед! Вперед!

Вихрем мчалась навстречу ночь, вихрем мчались мы в ночи и «паккард» трепетал, и сердце его металось в последней предсмертной борьбе.

Мы больше не останавливались, мы больше не прислушивались. Вперед, господа, вперед!

— Да держите же вы, старая калоша, чемоданы, — ведь они вылетят!

— Держу! — кротко отвечает Оноре Туапрео.

Разговор! Ха-ха, — веселый разговор и короткий.

Выплыли откуда-то слева спасительные огни города.

— Ура! Ура! Ура!

Вероятно, так кричали иудеи при виде тучных пастбищ земли обетованной. Рассказывают, что при этом они высоко подбрасывали, «качая» (качать его, качать!) дряхлеющего Моисея. Нас тоже высоко подбросило и стукнуло о чемоданы на первом городском ухабе.

Рязань! Боже, какой это милый и очаровательный город... Вообще, что может быть лучше глухой провинции...

которую, слава творцу, вы покидаете навсегда!

Шарахались шариками под колеса ожесточенные рязанские псы и пытались прокусить шины. Но шины были упруги и не собачьим зубам ухватить их! А целеустремленность наша была ясна и непреклонна.

Ну вот и вокзал.

Вокзал, господа! Вы чувствуете этот запах, специфический запах путешествия и приключений, которым пахнут все вокзалы мира? Они еще пахнут карболкой, — гигиена — мать здоровья! Но ведь карболка никогда не мешала романтике, а романтика всегда мирно уживалась с карболкой. Итак, — романтика!

Извольте! Внимание, — романтика!

— Товарищ милиционер, нам не на кого оставить машину, не откажите в любезности присмотреть за ней!

Немедленно и строго нам было отказано в любезности.

— Не могу! Я на посту!

— Ах, бросьте поститься, товарищ милиционер! Пост — это религиозный дурман! А, впрочем, почему такая чрезмерная веселость и двусмысленные каламбуры? Нам некогда. Вот пришел наш поезд, мы спешим. Прощайте, товарищ милиционер!

— Носильщик! Еще один!

Мелкой рысцой побежали на перрон наши чемоданы, а за ними и мы. На душе у нас беспокойно. Мы встревожены. Что за таинственная погоня? Кто бы мог гнаться за нами?.. И не догоняет ли он нас, этот таинственный неизвестный? Не на вокзале ли он?

Уже все улажено. Мы в вагоне. Уютно покоятся тут же с нами наши прекрасные французские чемоданы. Но до отхода поезда еще десять минут. Я выбегаю из вагона. Мчусь по перрону. Выхожу на площадь. Право, если бы не мое тревожное состояние — я расплакался бы от умиления. Милиционер, тот самый милиционер, который на посту, заботливо отгонял подобранных ребятишек, очевидно, будущих автомехаников, заинтересовавшихся системой нашей машины. Но милиционер один, а ребятишек около десятка. Одному справиться трудно. В особенности, если и авто-

мобиль и ребятишки — беспризорные. Тоскующими глазами глянул милиционер на вокзал и, заметив меня, радостно замахал рукой:

— Иди, мол, получай свое добро!

Но минуты промчались. Я слышу звонок. Погони нет никакой. Скачками возвращаюсь на перрон. И как раз вовремя. Язвительно пыхтит паровоз и, словно рассердившись, дергает вагоны. Я в вагоне.

— Прощайте, товарищ милиционер!

Завтра в местной газете будет сообщение о беспризорном, подкинутом милиционеру автомобиле.

Беспризорный автомобиль в Рязани на вокзале — это чистейшей воды романтика! Нет, уж лучше не спорьте, все равно не соглашусь, — романтика!

Ффу! Наконец-то можно вздохнуть свободно! Мы в поезде, мы с быстротою поезда приближаемся к нашей обожаемой родине. А впрочем, какие уж тут свободные вздохи, когда налицо имеется эта совершенно непонятная вам, дорогой читатель, да и мне самому, погоня. Хотя, быть может, это нам просто почудилось с перепугу, а на самом деле никакой погони нет и не было?

Но, все-таки, чтобы соблюсти все приличия, мы будем волноваться до самой границы и вы, если вы порядочный и приличный читатель — добросовестно проделывайте то же. Волнуйтесь, как можно сильнее волнуйтесь!

Как вы думаете, догонят нас, или не догонят и мы благополучно доедем до границы?

О, я вижу, вы очень догадливы и хитры! Вы сразу вспоминаете предисловие и то, что эту рукопись я передал сотруднику русского издательства во Франции, — стало быть, не догонят!

Да, сознаюсь, конечно, это так, но вы все-таки волнуйтесь, ведь этак, с волнением-то, будет много интересней. Что же это за приключенческий роман без погони и без волнения?

Очевидно, события последних дней повлияли на мой характер. Я стал необычайно легкомыслен и болтлив. Но все же, — к делу!

Утро застало нас в Москве. Эта ужасная несогласованность в расписании поездов! Четыре часа, вдумайтесь только, это при наличии возможной погони, четыре часа мы должны ожидать поезда!

После краткого совещания мы решили сдать наши чемоданы на хранение. Да и в самом-то деле, — ведь не станут же их вскрывать, а сквозь фибру никто ничего не увидит. Ну, а рентгеновские лучи в камерах хранения багажа пока не применяются. А напрасно! Много бы занятного можно было увидеть!

Итак — четыре часа! Мы решили в последний раз посмотреть на Москву и сели в трамвай. Мною и дорогим учителем овладели лирические воспоминания. Перед нашим духовным взором, увлажненным духовной же слезой, проносились и туземный азиатский коньяк № 100, и две премилых девицы со своими братьями, этакими широкоплечими азиатами, и мадам Заварова, и трогательные купцы толкучего рынка, словом, все милые персонажи, которые в начале романа любезно знакомили нас с Москвой. Только Бартельс, у которого в груди, вероятно, не сердце, а камень — был мрачен и свиреп.

Но что это? Я протер глаза и встряхнул головой, стараясь избавиться от наваждения. Дорогой учитель мгновенно покраснел, а затем побагровел. Глаза Бартельса налились кровью и волосатые кулаки грузно и угрожающе улеглись на коленях.

Но трамвай цвиринькнул звонком. Вывески магазинов побежали назад — и все исчезло.

Несомненно, это было наваждение. А вы говорите, господа, что в наш век не может быть никаких сверхъестественных, чудесных вещей. Вот только что все мы трое, вы понимаете, — трое, а не я один, видели воочию, собственными глазами...

Но позвольте, позвольте, — что это? Караул!

Что это?

Словно ужаленные, вскочили мы со скамьи, растолкали публику и на ходу выскочили из вагона.

Караул! Что это? Мы сходим с ума! Мы галлюцинируем!

Свисток. Милиционер. Толпа любопытных закрыла от нас эту ужасную, эту невероятную вещь.

— Граждане, платите штраф за нарушение...

— Ах, штраф, штраф! Вот ваш штраф!

— Да нет, постойте, куда же вы? Я квитанции...

Мы отмахнулись. Мы выбрались из толпы. Мы подскочили к стене. Мы смотрели то на стену, то друг на друга.

— Ущипнемся! — робко произнес Оноре Туапрео.

Мы ущипнулись и почувствовали боль. Но все же, все же, вот тут, перед нами, черным по белому:

Большой Академический Театр

Последний раз в сезоне

СКАЗАНИЕ О ГРАДЕ КИТЕЖЕ И ДЕВЕ ФЕВРОНИИ.

Мы стояли. Мы смотрели. Мы не понимали. Мы балдели.

А буквы, жирные, наглые буквы словно палками дубасили нас по башкам:

СКАЗАНИЕ О ГРАДЕ КИТЕЖЕ...

Итак, оказывается, они все знали! Они все знают! Они все знают! Бежать! Бежать! Скорей бежать на вокзал! Наши чемоданы!

От растерянности и волнения нам не пришло в голову вскочить в трамвай, взять такси или извозчика. Мы бежали, как загнанные звери. Мы «бежали пешком».

А на каждом углу, на каждом перекрестке смеялись над нами наглыми, жирными буквами:

СКАЗАНИЕ О ГРАДЕ КИТЕЖЕ...

Вероятно, с перепута — мы заблудились, сбились с дороги и, усталые, вконец замученные, добрались до вокзала в самый последний момент.

Едва успели мы со своими чемоданами втиснуться в купе, — как поезд тронулся.

Ах, дорогие сограждане французы! Наши храбрые предки, доблестные галлы, так же, как и мы, ходили воевать чужое добро! Увы, нередко они возвращались так же, как и мы.

Ведь все понятно, — все совершенно, ужасно понятно. И я вас ни на минуту не собирался обманывать. Ну, конечно же, никаких сокровищ мы не нашли, ведь вы это давным-давно знаете.

Вы давно думаете:

— Ах, этот писатель, этот неизвестный доселе писатель так наивен и беспомощен! Он полагает, что он нас надул, что мы ждем каких-то сокровищ, которые везутся в фибровых чемоданах и благополучно перевозятся через границу. А мы догадливые, мы не поддались шитому белыми нитками обману и уже в первой главе (во второй, третьей, десятой, — это в зависимости от сообразительности) знали, что никаких сокровищ нет и не будет!

Ну вот, как видите, дорогие сограждане, на сей раз — вы ошиблись!

Во-первых, я не собирался вас обманывать, во-вторых — я вас обманул многожды, и в третьих — а это самое главное, — я вовсе не писатель, я всего-навсего добросовестный описатель подлинного, но, к сожалению, не добросовестного происхождения.

Позволю себе повториться: всем сомневающимся в подлинности описанных мною событий надлежит обратиться

к нотариусу города Парижа, господину Мерье, улица Кондотьеров, 12.

Вероятно, в мое описание вкрались некоторые неточности и недоговоренности, но ведь мне это простительно, — я в своей жизни писал только цифры в банковских grossбухах.

Кое-что я постараюсь восполнить и уточнить.

В ту знаменательную ночь, когда мы наконец добрались до дна озера Гнилого и когда кто-то вдохновенно воскликнул:

— Это ларец! — мы очистили окончательно от грязи этот воображаемый ларец. Увы, — это был не ларец, а полусгнивший кузов какой-то лодки. С трудом, но мы разобрали надпись: на одном обломке ЛАС... и на другом — ТОЧКА...

Но это еще не была точка в наших работах по изысканию сокровищ града Китежа. Мы были обескуражены, но еще не отчаялись.

Точка наступила днем. Причины, вызвавшие столь гнусный поступок нашего сообщника, мне и до сих пор неизвестны и непонятны. Днем явился к Бартельсу наш водолаз и рассказал ему историю изготовления в Москве древнего китежского ларца и слитка золота, а также историю находки их на дне озера Гнилого.

Вспенилось и мыльным пузырем лопнуло Бартельсово доверие. Мужчина в истерике — гнусен до неприличия, и мы отвернулись от Бартельса.

Даже самая темная, тяжелая, грозовая туча — изливается на землю дождем и тухнут в ней последние громы.

Бартельс изошел проклятьями и ругательствами, Бартельс — утих и смирился. У ног его лежали растоптанные в прах в порыве гнева обломки древнего китежского ларца. Но он отряхнул прах от ног своих, остороженько разгреб его и, пошарив рукой, бережно поднял знаменитый золотой слиток. И я, и дорогой учитель получили при том парочку неоценимых, золотых взглядов. Бартельс спрятал древнюю китежскую монету в бумажник. Бартельс помол-

чал минутку, пытаясь убить нас презрительным взглядом, но мы не согласны были умирать.

Пауза.

— Укладывайте чемоданы! — безнадежно молвил Бартельс и мы разошлись по своим комнатам. Был полдень и на дворе сияло солнце, поглощая последние остатки вод озера Гнилого.

А впрочем: кто может вспомнить, как прошел этот день? Вероятно, никто из нас не сможет, да и не захочет вспоминать этого. Мучительный, бесконечный, он, слава богу, — прошел. Когда погасли в лагере последние огни, когда отзвучала последняя, запоздавшая песня...

А теперь, ежели вам не лень читать второй раз то, что вы уже читали — возвратитесь на несколько страниц и прочтите все, что было дальше.

Ну, вот и все. Вся нехитрая и добросовестно записанная мною история концессии по изысканию сокровищ града Китежа.

Я снова в милой мне Франции. Я дома.

Увы мне, незадачливому, — я не нашел сокровищ града Китежа и я навеки потерял мое сокровище! Хотя, в сущности, — все сокровища града Китежа не смогли бы сохранить для меня моего сокровища!

(Ужасно, ужасно, — я совершенно с вами согласен: это по меньшей мере безграмотно для писателя — на протяжении двух строк запутаться в четырех сокровищах! Но помилуйте, — ведь я не писатель!)

Итак, — я мог обыскать всю Францию, но мне не удалось бы найти обожаемой и любящей меня мадемуазель Клэр де Снер. За три месяца до моего возвращения на родину — она переменила квартиру, город, фамилию и любовь!

Гусарская полковница де Сантьерри, проживающая в Бордо, безумно любит своего гусара, но не отказывает в благосклонности другим гусарам в генеральских чинах. Ах, гусарские генералы так падки на любовь, а обольстительнейшая полковница, мадам Клэр де Сантьерри — так покладиста и темпераментна! И, вероятно, в новогодних произ-

водственных списках мы сможем прочесть, что доблестная французская армия обогатилась новым героем, новым генералом, генералом де Сантьерри!

О, судьба, судьба — как ты жестока! Какая, вероятно, блестящая карьера утеряна для меня безвозвратно. Впрочем, — я не жалею об этом. Я даже доволен, что все произошло так, как оно произошло. Я любил и люблю Клэр де Снер и она меня любит по прежнему. А полковница Клэр де Сантьерри меня ни в какой степени не интересует.

Клэр де Снер! Ведь у каждого человека есть какая-то одна, заветная мечта. Люди могут изменяться и изменять, — но мечта неизменна.

Итак, — мадемуазель Клэр де Снер исчезла. Она переменила квартиру, город, фамилию и любовь. Но это не так! Я не хочу — и это не так! Господа, да здравствует Клэр де Снер!

Нет, видно, мне суждено остаться холостяком. Ибо, как видите, — я оказался прав. Жена? О нет, всего — любимая, — это ужасное, деспотическое создание. Оно входит в вашу жизнь неожиданно и незванно. Оно с удобствами устраивается в вашем сердце и производит там какие угодно перестановки.

— Вот эти обычаи мы сдвинем влево, а эти привычки мы вынесем вон — они устарели!

Совсем как жена, распоряжается перестановкой кушетки и кресла! Нет, нет, — я остаюсь холостяком!

А Клэр де Снер живет в моем сердце. И не все ли равно, как она называется? Мне, например, теперь все чаще и чаще кажется, что ее зовут — Катюша Ветрова...

Давайте закурим хорошую сигару, поудобнее устроимся в кресле и помечтаем. Вы готовы?

Ну, вот так!

Катюша Ветрова... То есть, я хотел сказать, Россия... Далекая, далекая...

Кстати, я на днях получил письмо из России. Да, вы очень проникательны, — я получил письмо от Катюши Ветровой.

Адрес? Ну, да ведь это совершенно несущественно. Вероятно, в конторе, в кабинете с надписью:

**Ведающий
технической частью концессии
ЖЮЛЬ МЭНН**

остались мои визитные карточки с адресом. Словом, письмо меня нашло.

Любопытно? Да, вы правы, — очень любопытно. Помните облигации выигрышного займа? Ну, конечно, помните, — ведь я знаю, вы хитрый читатель и сразу подумали:

— Облигации подсовываются для выигрыша!

Да, не буду вас разочаровывать, — Катюша пишет мне, что одна из моих облигаций выиграла десять тысяч. Общее собрание постановило внести их, как бесхозяйственные, в неликвидный фонд нового социального (?) хозяйства¹, организованного из наших рабочих на землях бывшего Гнилого озера и окружающих болот. Осенью там приступают к пахоте, будут подымать целину. Ждут громадных урожаев. Катюша тоже осталась там. Еще Катюша пишет мне...

Впрочем, нельзя же выбалтывать того, что дорого.

Представьте себе только то, что на протяжении всего письма — а оно длинное, — она ни разу не назвала меня классовым врагом. Я начинаю думать, что она права. Ну, в самом-то деле, — какой нее я классовый враг — ежели я «потомственный и почетный» клерк! Нет, я не буржуа, нет, — я не классовый враг Катюши Ветровой и ее приятелей. И вообще мне кажется, что за время моего отсутствия во Франции переменился климат и мне было бы много по-

¹ По-видимому, речь идет о коллективном хозяйстве или коммуне, автор слабо знаком с советской терминологией. Прим. переводчика.

лезней переселиться в Россию. Кстати, не знаете ли вы, где помещается советское посольство?

Простите, одну минуточку, — я запишу адрес!

Вы говорите, Бартельс? Право, не знаю, — я расстался с ним немедленно по переезде русской границы.

О, не беспокойтесь, к сожалению, Бартельс будет существовать еще долго, вероятно, до первого французского социального хозяйства¹.

Оноре Туапрео? О, он совсем, совсем постарел. Он пишет мне изредка о своих новых проектах. Они так же интересны, как и «Сокровища града Китежа», но у меня сейчас другое на уме. Я положительно чувствую призвание к земледельческому труду.

Я вижу, вы устали, к тому же ваша сигара догорела, — давайте простимся. До свиданья!

P. S. От редакции. Товарищи! Ради всего святого не волнуйтесь и не толпитесь! Мы немедленно разъясним вам все.

Шум, который был поднят во Франции книгой Жюлья Мэнна, — вполне оправдан, но автор по условиям французской цензуры не смог вскрыть причин возникновения этого шума. Дело в том, что Бартельс — правительственный агент, а вся концессия по изысканию сокровищ града Китежа субсидировалась французским правительством. Для каких целей — мы думаем, вы догадаетесь сами. Нам неудобно говорить об этом подробнее из соображений международной этики. Итак, — более подробно мы говорить об этом не будем. Нам остается только утешить вас, сообщив, что в последний момент, когда уже версталась эта книга, — мы получили телеграмму от автора. Приводим ее дословно:

¹ Тот же языковой ляпсус автора. Прим. переводчика.

Выезжаю Рязань встречайте вокзале
Жюль Мэнн.

Будем надеяться, что автор, отдохнув после путешествия, расскажет нам подробно все то, чего мы не позволяем себе рассказывать. Соображения международной этики для него, как для француза — необязательны!

Редакция

Книга публикуется по первоизданию (Киев: Коммуна писателей, б. г. [1930 или 1931?]) с исправлением ряда опечаток, а также некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации.

В оформлении обложки использована работа И. Билибина.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.